Д. ЛЕВИН

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И БРЕСТСКИЙ МИР

*

РАНИОН * 1930 * МОСКВА

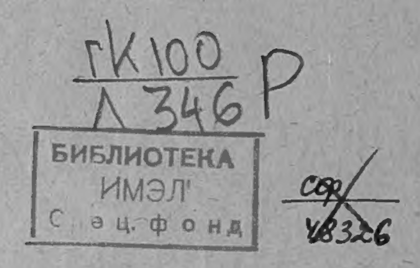
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Д. ЛЕВИН

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И БРЕСТСКИЙ МИР

РАНИОН 1930 МОСКВА





Печатается по постановлению коллегии института советского права.

Ученый секретарь института советского права: *И. Перетерский*



Главлит № А — 56.008. Заказ 1787 **6 п. л.** Тираж 3.000

Типография и офсет-печатня изд-ва „Крестьянская газета", Москва, Сущевская, 21

ВВЕДЕНИЕ

Марксистское исследование международных отношений состоит прежде всего в том, чтобы всякие национальные и государственные противоречия переводить в классовую плоскость, чтобы во всякой борьбе наций и государств вскрыть классовую борьбу. Это—та общая постановка, которую Ленин давал всем международным вопросам. К сожалению, в нашей литературе, как это хорошо отметил т. Покровский, ленинская постановка очень часто сводится к тому, что просто противопоставляют: если буржуазное государство, значит, конечно, против социалистического, если феодальное — против буржуазного, и дальше этого не идут. Разумеется, одно такое голое противопоставление не может подвинуть нас ни на шаг дальше общих мест, в особенности если речь идет о национальных и колониальных вопросах, где жизнь гораздо сложнее, где буржуазия вступает в союз подчас с самой отсталой феодальной реакцией и где, с другой стороны, социалистическое государство поддерживает буржуазно-национальные движения, если они прогрессивны с точки зрения социалистической революции. Здесь нужно тщательно разобраться в том, какие отдельные социальные моменты сплетаются в данном международном отношении, какие особые формы принимает это сплетение, нужно проанализировать все исследуемое отношение в целом на фоне основной его классовой тенденции и основной исторической перспективы. Только тогда можно получить правильное отображение конкретного многообразия международной жизни, т. е. понять, какие внутренние социально-классовые рычаги движут теми или иными международно-политическими событиями и столкновениями.

Появление на мировой арене первого пролетарского государства открывает совершенно новую эпоху в истории международных отношений. На ряду с борьбой капиталистических государств между собой разворачивается грандиозная борьба государственно-организованного пролетариата со всем капиталистическим миром. Но историческое значение новой эпохи не исчерпывается только тем, что рядом с буржуазными государствами существует Советский Союз. Та борьба, которую ведет социалистическое государство с капиталистическим миром, проникает собой всю систему мировых отношений; она переводит в новую плоскость борьбу между империалистами и колониями

и ставит несомненно по-новому даже борьбу самих империалистических хищников между собой. Коренным образом изменяется то звено, которое является основным во всей цепи международных отношений. «При теперешнем мировом положении, после империалистической войны, взаимные отношения народов, вся мировая система государств определяется борьбой небольшой группы империалистических наций с советским движением и советскими государствами, во главе которых стоит Советская Россия» [1]. Иными словами, каждое международное отношение, каждое событие мировой политики необходимо рассматривать под углом зрения той новой эпохи, которая открывается с момента Октябрьской революции. Это не что иное, как историческая конкретизация той общей ленинской постановки, которая заключается в переводе государственно-национальных отношений в классовые. Без этого невозможно никакое подлинно-марксистское, т. е. научное исследование международных вопросов, хотя бы последние касались только самого отдаленного участка мировой арены.

При исследовании реальной истории советской внешней политики классовая сущность междугосударственной борьбы выступает сама по себе объективно в достаточной степени четко. Но советскую внешнюю политику можно исследовать еще не в историческом плане, а под углом зрения тех специфических проблем, которые вызывает преломление классовой борьбы пролетариата в плоскости внешней политики, и на ряду с этим под углом зрения тех политических принципов, которыми руководствуется советская внешняя политика и которые Октябрьская революция выдвинула на международную арену. На международной арене эти принципы, в своей плоскости, сталкиваются непосредственно с современным, т. е. с буржуазно-империалистическим международным правом. Советский Союз не создает, конечно, своего особого, советского международного права. Попытки построить такую систему, нечто в роде «международного права последовательно-социалистического типа» (напр., книга проф. Коровина «Международное право переходного времени») могут привести лишь к бесплодной догматизации живых явлений международной классовой борьбы и к искажению исторической перспективы будущих взаимоотношений социалистических государств. Но исторически существующее международное право, опосредствуя взаимоотношения советского государства с капиталистическими государствами, выполняет совершенно противоположную классовую функцию, и с этой точки зрения, по своему содержанию, оно действительно уже совершенно другое международное право, международное право того переходного периода, когда, по выражению т. Пашуканиса, одна система (буржуазная) *уже* не в состоянии обеспечить себе исключительное господство, а другая (социалистическая) *еще* не завоевала его. И поскольку предметом исследования является именно правовая форма той борьбы, которую ведет социалистическое государство с буржуазным миром, то здесь задача исследователя в вышеуказанном методо-

логическом отношении гораздо сложнее. Правильно понять противоположность тех демократических принципов международного права, которые проводит советская внешняя политика, и тех реакционных его конструкций, которые создает современная буржуазная дипломатия, т. е. понять эту противоположность с точки зрения классовой борьбы пролетариата и буржуазии, невозможно иначе, как на фоне самого широкого исторического освещения, иначе, как путем самого глубокого историко-социологического анализа.

Основные идеи буржуазного международного права, суверенитет и равноправие наций, публичный международный договор и т. п. окончательно сложились лишь в результате перенесения идей буржуазной демократии в сферу международных отношений, которое происходило в эпоху буржуазных революций. Тогда эти идеи были лозунгами широких демократических движений и теми формами, в которых буржуазные нации отстаивали против феодализма свое независимое государственное существование. Теперь, в эпоху империализма, когда «на место борьбы поднимающегося вверх, национально-освобождающегося капитала против феодализма стала борьба реакционнейшего, отжившего и пережившего себя финансового капитала, идущего вниз, к упадку, — против новых сил», когда «буржуазия из поднимающегося передового класса стала опускающимся, упадочным, внутренне мертвым, реакционным, а поднимающимся — в широком историческом масштабе — стал совсем иной класс» [2], — демократические идеи буржуазного международного права только затушевывают реальное содержание международных отношений и служат буржуазии для того, чтобы скрывать от народных масс гнет, устанавливаемый кучкой государственно-капиталистических трестов над остальными нациями и опасность новых империалистических войн.

Но теперь пролетарское государство реально применяет эти идеи в целях международной борьбы с буржуазной реакцией. Оно строит на принципах суверенитета и равноправия свои отношения с угнетенными народами и с помощью данных принципов поддерживает их борьбу против империализма за независимое существование. Оно реально проводит в своей политике принцип мира, с помощью которого оно защищает против империализма не только интересы собственной страны, но и интересы трудящегося населения всего мира. И вместе с тем, выдвигая эти демократические принципы перед империалистическими государствами, оно разоблачает всю реакционность империализма и ту международную идеологию, которой пользуются империалисты для того, чтобы затушевать перед народными массами истинное положение вещей. Поэтому совершенно несомненно, что то реальное политическое содержание, которое вкладывают в одни и те же международно-правовые понятия Советский Союз и его империалистические контрагенты, еще более противоположно друг другу, чем те начала, на которых в свое время строили международное право

революционные буржуазные нации и феодальные монархи. Но эта противоположность, как уже указано, не может быть надлежаще понята, если не подойти к каждому вопросу исторически. И для международника, который исследует советскую внешнюю политику под углом зрения ее правовых принципов, упустить этот основной исторический фон — значит либо свести все дело к вульгарному противопоставлению: «если буржуазное — то против социалистического» и т. д., либо — просто стать на буржуазную по существу точку зрения.

Брестский мир является первым прорывом, который внесла Октябрьская революция в международную капиталистическую систему, и на ряду с этим он представляет собой первый крупный шаг советской внешней политики. В последнем отношении период Бреста носит на себе еще все следы того трудного и резкого перелома от взглядов подпольной революционной партии к политическому реализму стоящего у власти правительства, который, как описывает Чичерин, только еще совершался в самих вождях и руководителях пролетарского государства. В то время возможны были еще такие представления, как, например, идея Оболенского о перманентной революционной войне вплоть до победы революции во всем мире, и далеко не *для* всех еще была ясна выдвинутая Лениным перспектива одновременного сожительства двух миров.

С точки зрения реальной политики Брестский мир представляет собой гениальный стратегический маневр — прикрыться одним империализмом против другого в целях получения передышки, маневр, задуманный Лениным и испорченный только тем, что переговоры в Брест-Литовске не вел непосредственно сам Ленин. Но Брестский мир исторически не менее важен и в другой плоскости. В этом первом международном акте Октябрьской революции социалистическое государство впервые выдвинуло на мировой арене основные принципы демократической международной политики—принципы мира и самоопределения наций, которые в дальнейшем остаются неизменными началами советской внешней политики, и впервые практически применило их в борьбе против империализма. Вместе с тем это — первый акт дипломатической борьбы социалистического государства с империалистическими державами, в котором наметились система и методы советской дипломатии.

Исследовать Брестский мир именно под этим углом зрения и ставит своей задачей настоящая работа. В ней совершенно не затрагиваются такие вопросы, как, например, влияние Бресткого мира на ход мировой войны и на взаимоотношении Антанты и Германии, политические взаимоотношения между самими участниками австро-германской империалистической коалиции и их внутреннее положение, борьба в нашей партии вокруг Брестского мира и т. д. — вопросы, которые неизбежно должны встать, и не в последнюю очередь, в плане исторического исследования. Здесь же задача строго ограничивается

тем, чтобы показать: какое политическое содержание и какое функционально-классовое значение приобрели демократические принципы международной политики в первой грандиозной борьбе пролетарского государства с буржуазно-империалистическим миром, и как изменились формы борьбы пролетариата за эти принципы со времени Октябрьской революции, т. е. с того момента, когда пролетариат крупнейшей империалистической страны конституировался в государство.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОЛИТИКА МИРА

Октябрьская революция в области международной политики развернулась не менее активно, чем в области внутренней. Свергнув власть капиталистов внутри страны, революция повела борьбу против господства всего международного капитала, борьбу, направленную к подрыву всей империалистической системы международных отношений. В условиях той международной обстановки, которая окружала революционную страну, когда центральной осью всей империалистической политики являлась мировая война, борьба против империализма, конкретно, заключалась в борьбе против мировой войны. «Убить войну — значит победить капитал, — говорил Ленин, и в этом смысле советская власть начала борьбу». Программа мира, которую выдвигали большевики и революционные социалисты всех стран до Октября, была программой пролетарской революции, ибо важнейшей предпосылкой такого мира являлось уничтожение капиталистического строя, а первым этапом в борьбе за мир — борьба против собственных империалистических правительств. Это положение подчеркивалось тогда Лениным почти в каждом его выступлении, и оно являлось самой основной идеей подлинно революционной программы мира, которая отличала ее от всякого буржуазного и социал-демократического пацифизма.

Захват власти пролетариатом в России ставил совершенно по-новому проблему борьбы с империалистической войной. Принципиальное содержание этой борьбы оставалось прежним, но формы и методы коренным образом менялись. Теперь пролетариат крупнейшей воюющей страны конституировался в государство, которое выводило эту страну из войны и непосредственно противостояло обоим лагерям империалистов. Разумеется, силами государственно-организованного пролетариата одной России убить войну было невозможно. Этого можно было достигнуть только совместными усилиями пролетариата всех или по крайней мере нескольких воюющих стран. Поэтому задача пролетариата России попрежнему состояла в том, чтобы поднять движение пролетариата воюющих стран в пользу мира против своих империалистических правительств. Но теперь пролетариату России открывались для этого новые широкие возможности, которые

вытекали из овладения государственным аппаратом и дипломатией. Он выступал как государство, которое резко порвало с какой-бы то ни было империалистической политикой и открыто предложило немедленный демократический мир. Такая радикальная и недвусмысленная постановка вопроса о мире неизбежно заставляла правительства обоих воюющих коалиций, поскольку они, как империалисты, не могли принять советского предложения мира, разоблачить самих себя перед своими трудящимися массами и чрезвычайно стимулировала движение этих масс в пользу мира. Овладев дипломатией, тем самым оружием, с помощью которого господствующие классы империалистических государств затушевывали подлинные цели и подлинных виновников войны, пролетариат России употреблял теперь это оружие для наиболее непосредственного разоблачения империалистов, разоблачения живыми фактами, живым примером, и тем самым поднимал массы на борьбу за мир, как на борьбу против своих империалистических правительств.

Ленин еще до Октябрьского переворота указывал, какие формы должна будет принять борьба за мир после захвата власти пролетариатом в России. В резолюции о войне, принятой по его предложению на апрельской конференции партии, он писал: «Революционный класс, взяв в свои руки государственную власть в России, принял бы ряд мер, подрывающих экономическое господство капиталистов, и мер, ведущих к их полному политическому обезвреживанию, и немедленно и открыто предложил бы демократический мир всем народам на основе полного отказа от каких бы то ни было аннексий и контрибуций. Эти меры и это открытое предложение мира создали бы полное доверие рабочих воюющих стран друг к другу и неизбежно привели бы к восстаниям пролетариата против тех империалистических правительств, которые воспротивились бы предложенному миру» [3].

Именно в этом и заключалось подлинное значение декрета о мире, изданного революционной властью на второй день после переворота. Обращаясь к правительствам воюющих стран с предложением «начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», декрет ставил народы перед фактом отказа этих правительств прекратить войну и призывал рабочие массы этих стран взять в свои руки дело мира «и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплоатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплоатации». Эта задача накладывала свою печать и на все содержание и на «дипломатическую» форму этого декрета. «Наше предложение о перемирии не должно быть ультимативным, — говорил Ленин в своем заключительном слове на II Съезде Советов, — ибо мы не дадим возможности нашим врагам скрыть всю правду от народов, спрятавшись за нашу непримиримость... Если же мы предложение наше о перемирии сделаем не ультимативным, то мы тем самым заставим правительства в глазах народа стать преступниками, а с такими преступниками народы не станут больше церемониться» [4].

Эти формы борьбы с империалистической войной, использование оружия дипломатии в революционных целях долгое время оставались непонятными для буржуазного представления о революции. Английский исследователь истории советской внешней политики Альфред Деннис пытается изобразить декрет о мире как переход с позиций революционного интернационализма на путь чисто национальной внешней политики. «Декрет о мире, — пишет он, — ни словом не упоминает ни о мировой революции, ни о диктатуре пролетариата. Как же это так? Прежде всего вновь организовавшемуся кабинету народных комиссаров пришлось заняться чисто внутренними проблемами: удержанием власти, организацией снабжения продовольствием, управлением армией, находившейся фактически в состоянии разложения. Все это требовало немедленного мира, а мир этот значил тогда только одну вещь: прекращение боев на русской территории. Война на западном фронте, кампания на ближнем Востоке или подводная война на Атлантическом океане были делами далекими» [5].

На самом же деле декрет о мире не только выводил из войны Россию, как определенную страну, но был началом той последовательно проводившейся революционным правительством политики, которая была направлена против мировой войны в целом и вела к подрыву и к разоблачению всей империалистической политики воюющих государств. В силу этого декрета не только отменялась тайная дипломатия и аннулировались тайные договоры прежних правительств, но одновременно почти было начато опубликование этих договоров. Предложение немедленного мира и опубликование тайних договоров составляли, разумеется, две стороны одного и того же политического акта. Этот акт послужил сигналом к целой серии дальнейших актов в этом же направлении. После фактического отказа союзников принять предложение о перемирии [6] советское правительство обратилось с этим предложением уже непосредственно к народам воюющих стран. В этом обращении оно прямо ставило перед народами вопрос: «выражает ли реакционная дипломатия их мысли и стремления? Согласны ли народы позволить дипломатии упустить великую возможность мира, открытую русской революцией?»

На ряду с этим советское правительство продолжало снова выдвигать перед империалистическими правительствами реальную возможность мира. Вступая в прелиминарные переговоры с центральными державами, оно стремилось направить их в сторону переговоров о всеобщем перемирии. «Первая задача, — формулировал Каменев в своем отчете цели советской мирной делегации, — порвать порочный круг империалистической войны, в течение которой ни одна из воюющих стран не осмелилась выступить с решительными действиями (а не только словами) в пользу скорейшего прекращения войны, и тем разжечь движение пролетариата всех стран в пользу мира и против своих империалистических правительств. Поэтому делегация была права, когда без лишних проволочек заключила пере-

мирие, как необходимое условие немедленного открытия мирных переговоров» [7].

Во вступительной декларации, оглашенной Иоффе перед началом переговоров, советская делегация предлагала в качестве необходимой предпосылки для вступления в обсуждение условий перемирия «немедленное обращение ко всем не представленным здесь воюющим странам с предложением принять участие в ведущихся переговорах». Делегации центральных держав упорно противились этому предложению. Они, наоборот, пытались придать переговорам характер чисто сепаратного перемирия, а этому-то всячески пыталась воспрепятствовать советская делегация. Весь первый день прелиминарных переговоров был посвящен спорам по этому вопросу. Каменев настойчиво заявлял, что «в данный момент центр тяжести лежит не столько в военных переговорах, сколько в установлении общих основ мира, который должен быть заключен в результате перемирия», и что «только о таком общем мире может итти речь», а Гофман парировал эти атаки ссылкой на отсутствие политических полномочий, неизменно указывая, что делегации Четверного союза уполномочены вести переговоры в пределах только военно-технических вопросов. В итоге была принята компромиссная резолюция, предлагавшая представителям центральных держав сообщить о предложении советской делегации своим правительствам. Разумеется, все эти старания советской делегации рассчитаны были на то, чтобы продемонстрировать перед воюющими народами новую возможность мира. Какое значение имела такая «демонстрация» для империалистов, видно хотя бы из того, что делегации центральных держав в своих протоколах попытались совершенно извратить подлинное содержание ведшихся переговоров и, в частности, перед каждым стоявшим в тексте протоколов словом «мир» старательно вычеркивали слово «всеобщий» [8]. В этом большую поддержку оказывала им также буржуазная пресса, причем не столько пресса центральных держав, сколько пресса Антанты.

Однако скрыть это в значительной мере не удавалось. Сразу же по окончании прелиминарных переговоров советское правительство обратилось с новым воззванием к народам Европы, в котором, описывая основные итоги переговоров и опирась на прямые факты отказа империалистов от заключения мира, призывало народы взять дело мира в свои руки. «Мы ни от кого не скрываем, — говорилось в этом воззвании, — что не считаем нынешние капиталистические правительства способными на демократический мир. Только революционная борьба рабочих масс против нынешних правительств может приблизить Европу к такому миру. Полное осуществление будет обеспечено только победоносной пролетарской революцией во всех капиталистических странах».

С открытием мирных переговоров в Брест-Литовске советское правительство выдвинуло еще одну реальную перспективу всеобщего мира. В течение всего первого периода брестских переговоров оно

придавало работам конференции характер выработки соглашения об основах всеобщего демократического мира. Декларация, предложенная советской делегацией в качестве основы для мирных переговоров, исходила из декрета о мире и содержала основные принципы всеобщего мира, а споры по отдельным пунктам немецкой контрдекларации велись именно в этой плоскости. По предложению советской делегации объявлялся 10-дневный перерыв «с тем, чтобы народы, правительства которых не примкнули еще к ведущимся переговорам о всеобщем мире, имели возможность достаточно ознакомиться с устанавливаемыми ныне принципами такового мира» [9].

Последовало еще одно обращение советского правительства, направленное уже к народам и правительствам союзных стран. Это обращение представляет собою как бы синтез всех предшествующих аналогичных актов. Излагая предложенную советской делегацией в Бресте программу мира, оно резко разоблачало истинную сущность «мирных» деклараций обеих империалистических группировок. Предлагая правительствам союзных стран присоединиться к брестлитовским переговорам оно указывало, что в случае их отказа от участия в переговорах «рабочий класс будет поставлен перед железной необходимостью вырвать власть из рук тех, которые не могут или не хотят дать народам мир». В заключительных словах этого обращения наиболее ярко выражена тактика советского правительства в его борьбе за мир. «Обращаясь к правительствам с последним предложением принять участие в мирных переговорах, мы вместе с тем обещаем полную поддержку рабочему классу каждой страны, который восстанет против своих национальных империалистов, против шовинистов, против милитаристов — под знаменем мира, братства народов и социалистического переустройства общества».

Таким образом, советское правительство реально ставило перед империалистическими государствами вопрос о всеобщем демократическом мире и тем самым наглядно демонстрировало перед народными массами этих государств полную неспособность империалистов к такому миру, а с другой стороны, призывало эти массы к непосредственной борьбе за мир революционным путем, путем свержения империалистов.

Это «мирное наступление» на капиталистический мир легло в основу всей дальнейшей внешней политики советского государства. В период интервенции оно составляло, по выражению Иоффе, «одну из радикальнейших (а в первое время даже единственную) возможностей самообороны советской власти» [10]. С восстановлением нормальных дипломатических отношений оно составляет основной принцип и вместе с тем основной метод советской внешней политики в вопросах мира и разоружения. Начиная с Генуэзской конференции и кончая последней конференцией по разоружению Лиги Наций в Женеве, советское правительство настойчиво предлагает немедленное разоружение и любые радикальные гарантии мира и таким путем ставит все чело-

вечество перед реальным фактом полной неспособности империалистических правительств провести на деле мир и разоружение. Оно противопоставляет лицемерию империалистов свою действительную политику мира, которую, как выразился Литвинов в своем отчете на IV сессии ЦИК, «мы ведем не вследствие слабости или в силу сантиментального пацифизма, а потому, что она присуща самой природе советской власти, она соответствует интересам нашего строительства и интересам широких трудящихся масс всего мира». Советская дипломатия принимает участие в работах Лиги Наций по разоружению не для того, чтобы подобно социал-демократам доказывать, что Лига Наций является подлинным орудием мира, что она способна предотвратить войну и осуществить разоружение, что «политика Лиги Наций является функцией классовой борьбы пролетариата» [11] и т. п. истины, с помощью которых социал-демократы помогают империалистическим правительствам обманывать народные массы, а с диаметрально противоположной целью, для того, чтобы наглядно показать этим массам, что подлинный мир и разоружение возможны только с уничтожением капиталистического строя и, в частности, самой Лиги Наций.

Но борьба против мировой войны и против всего мирового империализма не снимала с порядка дня особой проблемы — выхода самой России из войны. Поддержка международного пролетариата не приходила так скоро, как ее ожидали, и за рассчитанными на эту поддержку попытками заключения всеобщего демократического мира последовали сепаратные переговоры с Германией и ее союзниками.

Однако сепаратный выход России из войны не представлял собою чего-либо противоположного или резко отличного от общей борьбы против всего империализма, а являлся как бы составной частью этой борьбы, потому что он был революционным выходом из войны. Самое прекращение военных действий на фронте протекало революционным путем. Еще до начала переговоров с немецким военным командованием солдатам на фронт был послан призыв самостоятельно вступать в переговоры с неприятелем [12]. При этом процесс фактического перемирия происходил параллельно с процессом борьбы с контрреволюционной ставкой, которая, опираясь на поддержку союзных военных миссий, сравнительно долго еще после Октябрьского переворота оказывала свое сопротивление и пыталась не допускать на фронт приезжавших из Петрограда от советского правительства агитаторов. Так, например, уже через два дня после смещения ген. Духонина и назначения главнокомандующим Крыленко Духониным был отдан приказ воспрепятствовать вооруженной силой продвижению Крыленко с конвоем в ставку и предложить ему «вернуться или назад в Петроград или отправиться в Могилев единолично». На фронте шла упорная борьба между революционными комитетами солдат и генералитетом и офицерством [13].

Но самое важное — это то, что тот мир, которым Советская Россия прекращала свою войну с Германией, был не просто миром,

прекращающим войну, как это обычно представляется пацифистам, а был революционным миром. Мир и война сами по себе вообще не являются вещами, противоположными друг другу. «Мир есть продолжение той же политики с записью тех изменений в отношении между силами противников, которые созданы военными действиями» (Ленин). Мир же, которым выводило Россию из войны советское правительство, полностью разрывал все нити, связывавшие Россию как с тем, так и с другим империализмом, всякие связи с какой бы то ни было империалистической политикой вообще, и в этом отношении он был революционным миром и не представлял политики, принципиально отличавшейся от попыток революционного установления всеобщего мира. «Вы прекрасно знаете, — говорил потом Ленин на заседании ВЦИК в 1918 г., — что с начала Октябрьской революции мы ставили себе главной целью прекращение империалистической войны, но мы никогда не делали себе иллюзий, что силой пролетариата и революционных масс какой-либо страны, как бы героически ни были они настроены, как бы ни были организованы и дисциплинированы — силами пролетариата одной страны международный империализм можно свергнуть; это можно сделать только совместными усилиями пролетариата всех стран. Но мы сделали то, что в одной из стран были порваны все связи с капиталистами всего мира. У нашего правительства нет ни одной нити, связывающей его с какими бы то ни было империалистами, и их никогда не будет, каким бы путем ни пошла наша революция [14].

Именно это-то и было во всем самое важное. Это же стояло в центре всей политики империализма в отношении России. На другой день после Октябрьского переворота Советская республика очутилась лицом к лицу с двумя могущественными группировками империалистов, из которых каждая подходила к ней одинаково, но со своей особой, империалистической точки зрения: всячески стремились включить ее в цепь своей империалистической борьбы с противником.

Чрезвычайно любопытно отметить, что, поскольку к моменту Октябрьской революции русский фронт был все равно развален, а революция угрожала всеобщим взрывом, союзники, так сказать, «на последний конец», не исключали возможности удержать Россию в своей борьбе с Германией, и в форме «мира» с последней, разумеется, мира империалистического и исходящего поэтому от соответствующего правительства. Одновременно с грозными протестами союзных военных миссий при ставке на имя ген. Духонина против заключения перемирия (10 ноября был послан общий протест от начальников всех военных миссий, 12 — последовали повторные протесты от начальников американской и французской миссий) тому же Духонину дали понять, что перемирие между Россией и Германией «сделать нетрудно, надо чтобы предложение для этого исходило от власти, которую хотя бы временно признало большинство страны. Власть по форме для данного времени может быть различна» и т. д. (так Духонин

передавал ген. Марушевскому 11 ноября). «Насколько можно понять их (союзников. *Д. Л.*), — говорил он через два дня Черемисову, — они ничего не имели бы против заключения мира при их участии в этом вопросе, но не сепаратно». На это же впоследствии неоднократно указывал английский посол в Петрограде, Джорж Бьюкенен, как в целом ряде неофициальных речей и разговоров, так и в официальном интервью представителям прессы от 8 декабря [15].

Одновременно на фронте было выпущено воззвание общеармейского комитета к солдатам (аналогичные воззвания были выпущены и в Петрограде Комитетом защиты родины и свободы), в котором указывалось, «что в сложившейся ныне обстановке единственным препятствием к заключению мира является правительство Ленина и Троцкого», так как державы не желают с ними разговаривать, и это обращение призывало солдат требовать немедленного образования «общесоциалистического правительства» «с Виктором Михайловичем Черновым во главе». «Такое правительство будет признано и страной и державами и немедленно приступит к мирным переговорам». Вскоре дело приняло еще более быстрый оборот. 18 ноября уже перед самым отъездом союзных военных миссий из ставки, согласно сообщению Духонина, «представитель итальянской военной миссии генерал Ромеи получил телеграмму от своего офицера из Петрограда, из посольства, в которой сообщалось, что союзники решили освободить Россию от союзных обязательств и предоставить ей возможность заключить более выгодный сепаратный мир, а пока перемирие». Об этом же доносил и ген. Дитерихс в юзограмме командующему польским корпусом, Довбор-Мусницкому. Однако ставка на Чернова оказалась битой, и согласие пришлось взять обратно. В тот же день Духонин телеграфировал всем военным частям, что «распространившиеся сегодня утром частные сведения... подтверждения не получили», а в юзограмму Дитерихса была внесена «существенная поправка» о том, «что союзники решили больше не протестовать против заключения нами сепаратного перемирия не в смысле согласия на таковое перемирие с нашей стороны, а в том смысле, что, раз протестовавши они не считают нужным высказывать новые протесты» [16].

В первые месяцы революции все отношение Антанты к советскому правительству, как это отлично показал М. Н. Покровский, строилось исключительно на одной тенденции: во что бы то ни стало удержать Россию в войне до мая 1918 г., т. е. до фактического появления Соединенных Штатов Америки на театре войны [17]. Вначале союзники вообще были единодушно убеждены в недолговечности советского правительства, поэтому первое, что им нужно было сделать — это не дать советскому правительству заключить мир. Вопрос о мире,— это было почти единственным, что стояло в центре их внимания. «Несмотря на декреты новой власти о национализации земли, банков и пр., об аннулировании прежних долгов, — указывает Ф. Ротштейн, говоря об Англии, — отношение к ней правительственных сфер и

буржуазной общественности определялось почти исключительно тревогой за исход войны»[18]. То же самое наблюдалось и во Франции. Французская социалистическая партия 19 декабря обратилась даже с особым манифестом «к русским социалистам», в котором и лаской и угрозой уговаривала их отказаться от заключения сепаратного мира. Стыдливо признаваясь в «некоторых ошибках» своих правителей по отношению к русской революции, она восклицала: «но что значат все эти ошибки по сравнению с намерением заключить сепаратный мир». Политический смысл этого манифеста, как разъяснил два дня спустя по его опубликовании Самба в своей статье «L'Appel aux russes», состоял в том, что «чтобы мы могли действовать в России, необходимо, чтобы наше правительство не связывало нас по рукам, так как в этом случае нам угрожает великая опасность — немцы используют Россию». Эти опасения были также причиной того, почему союзные послы долгое время после переворота продолжали еще оставаться в Петрограде и в России. «Полный разрыв, указывал в письме к министру иностранных дел Джорж Бьюкенен, предоставил бы германцам свободу действий в России и лишил бы нас возможности оказывать нашим интересам ту защиту, которую может дать им посольство». Правда, во Франции правительство и большинство буржуазной общественности были настроены более решительно и с самого начала требовали немедленного разрыва с большевиками и упорной борьбы с ними. «Правительства Запада должны теперь еще более сблизиться друг с другом,—писала, например, «Temps» в передовой от 10 ноября.— Державам Согласия грозит сепаратный мир и революция. Необходимо принять срочные меры против максималистского шантажа». Однако на практике подобные тенденции в то время еще не получили осуществления, и практически Франция не предпринимала никаких активных шагов в этом направлении.

Но даже после разрыва надежды заставить Россию продолжать войну долгое время еще не оставляли союзников. Угрозы сменились лаской и уговорами. 18 ноября начальник американской военной миссии ген. Джонсон собственнолично явился к Троцкому. «Время протестов и угроз по адресу советской власти прошло, если вообще это время существовало» — заявил он, а затем даже спросил, не потребует ли советское правительство объяснений по поводу прежних протестов[19]. Особенно оживились эти попытки после того, как Германия, несмотря на заключение мира, стала продолжать свое наступление. Американский посол в России Френсис 19 марта 1918 г. выступил с речью, в которой он заверял, что Америка — друг России и не допустит наступления на Россию германских войск[20]. В Смольном начал появляться целый ряд неофициальных или полуофициальных агентов: американский полковник Робинс, английский полковник Локкарт, французский офицер Садуль и пр. Все они предлагали советскому правительству боевые припасы, военных инструкторов, техническое снаряжение, продовольствие и т. п., при условии, если оно

согласится вести войну с Германией. Робинс предлагал даже Крыленко по сто рублей золотом за каждого русского солдата, выставленного на фронт против германцев. Сильнее всего проявлялись подобные тенденции в Англии, среди либеральных кругов, и в Америке. Несмотря на противодействие консерваторов и форейн-оффиса, доклады, пересылаемые Локкартом из Москвы и настроенные в пользу компромисса с советской властью, весьма сочувственно поддерживались Ллойд-Джоржем и его коллегами. Уже после начала японской интервенции, 15 марта 1918 г. Бальфур выступил в парламенте с предложением оказать Советской России поддержку против Германии. «Я полагаю, что советское правительство искренно хочет — и я желал бы надеяться, чтобы это не было бы слишком поздно — дать отпор германскому наступлению... Естественно, что при таких условиях союзники России должны спросить себя, не могут ли они дать ей то, что ей сейчас недостает. Мы должны сделать все, что можно для спасения России». Впрочем, с этой же точки зрения он защищал японскую интервенцию: «Японцы являются при настоящих обстоятельствах друзьями, а не врагами русских; они—союзники России против Германии, и их поступки есть не грабеж, а защита России против Германии» [21]. Наиболее значительным выступлением подобного рода была приветственная телеграмма Вильсона, посланная им 14 марта 1918 г. IV Всероссийскому Чрезвычайному Съезду Советов. В этой телеграмме он выражал «искреннее сочувствие русскому народу, особенно теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы в глубь страны с тем, чтобы помешать борьбе за свободу» и обещал, что «правительство Соединенных Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет, и полную независимость в ее внутренних делах, и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества» [22].

Однако к этому времени все эти «мирные» попытки заставить Россию воевать уже прекратились (если не считать продолжительных попыток полковника Робинса), ибо выяснилась окончательно их полная безрезультатность. «Вскоре, — описывает этот период Деннис, — факты приобрели ясность: Советская Россия была вне войны. Союзники во всяком случае имели перед собою новую (буквально — свежую,—*Д. Л.*) проблему: каково будет место Советской России в будущем общем мире. Может ли западный капиталистический мир поддерживать отношения с державой, которая отпала от него во время величайшего напряжения борьбы, а теперь пугала мир призраком мировой революции. Это было весьма трудной материей» [23]. Как известно, эту материю союзники попытались разрешить путем начатой тогда интервенции.

Другая группировка империалистов — австро-германская —исходила в своей политике по отношению к Советской России точно так же, главным образом, из этой же цели — максимально использовать Россию для борьбы с Антантой. Вначале мир с большевиками представлялся

для этого наиболее удобным средством. «Если он состоится, — писал австрийский министр граф Чернин еще до начала мирных переговоров, — то он германцев окрылит. Они не сомневаются в том, что, если им удастся перебросить свои части на западный фронт, то они прорвутся, займут Париж и Калэ и станут для Англии непосредственной угрозой. Такие успехи, конечно, способствуют делу мира»... С этой именно точки зрения германские руководящие круги, в особенности же военное командование, смотрели на мир с Россией и на самые мирные переговоры. «Если в Брест-Литовске все пойдет гладко и там удастся притти к благополучному результату, — писал, например, ген. Людендорф, — то надо ожидать, что к этому времени на Западе войска будут готовы начать с успехом наступление. Промедление не может быть оправдано. Без пояснений понятно, с каким напряжением мы следили за мирными переговорами» [24]. Все остальные соображения отступали на задний план. «Разумеется, — продолжает Чернин в цитируемом письме, — этот русский большевизм является европейской опасностью, и будь мы в состоянии привести нужную страну не только к заключению мира, но и к введению законного порядка, было бы правильно не вступать с этими людьми в переговоры, а просто итти на Петербург и восстановлять там порядок, но такой силы у нас нет, потому что для нашего спасения необходимо возможно скорее достигнуть мира» [25]. Но «русские планы» немецкого империализма отнюдь не ограничивались одним очищением своего восточного фронта, они простирались гораздо шире и состояли в том, чтобы создать в России военно-сырьевую базу для дальнейших военных операций на Западе. (Об этом совершенно откровенно пишут в своих мемуарах Гинденбург, Люндендорф и Гофман). Этим объясняются и те огромные размеры аннексий и контрибуций, которых потребовали от советского правительства немецкие империалисты, и та «защита» от «большевистской опасности» Украины, которая дала им возможность выкачать оттуда колоссальные количества хлеба и золота. На ряду с этим имели место и попытки непосредственного вовлечения советского правительства в круг мероприятий против союзников. Во время переговоров в экономической комиссии на Брест-Литовской конференции Карнер предложил включить в торговый договор особое соглашение о том, что Россия и Германия обязуются «поддерживать друг друга в борьбе с направленными против них со стороны третьих держав мероприятиями экономической войны», иными словами, соглашение о совместной экономической войне против союзников. И, несмотря на категорические возражения Иоффе, Карнер довольно упорно продолжал на этом настаивать, хотя, впрочем, и без успеха [26].

Позднее, однако, немецкие империалисты поняли, что для подобных целей «мир Чернова» был гораздо удобнее, чем мир с большевиками. «С весны 1918 г., — пишет в своих мемуарах ген. Гофман, — я стал на ту точку зрения, что правильнее было бы выяснить положение дел на Востоке, т. е. отказаться от мира, пойти походом на

Москву, создать какое-нибудь новое правительство, предложить ему лучшие условия мира, нежели в Брест-Литовске, — например, вернуть ему в первую голову Польшу — и заключить с этим новым русским правительством союз» [27]. Подобные же мысли высказывали и все другие немецкие генералы, тем более, что большевизм неудержимо проникал в Германию, заражал прибывающие с восточного фронта войска и становился опасной угрозой. В марте 1918 г. новый рейхканцлер, принц Макс Баденский, публично выступал уже с идеей о германской миссии борьбы с русским большевизмом, как с «врагом всей западной цивилизации», а вся буржуазная пресса единодушно требовала от правительства предохранить Германию от проникновения в нее большевистской заразы. Немецкое военное командование попыталось исправить свою ошибку и на практике. Во время нового наступления на Восток оно вступило в связь с русскими контрреволюционными генералами и поручило даже полковнику фон-Розенбергу созвать в ноябре 1918 г. в Пскове русский монархический съезд. Одновременно Розенберг усиленно формировал части русской белой армии, на нужды которой немецким командованием было отпущено вооружение на 50 тыс. человек и 150 млн. марок. Однако германская интервенция не возымела успеха вследствие весьма «ревнивого» противодействия интервентов Антанты.

Этим перекрещивающимся тенденциям двух враждующих лагерей империализма советское правительство противопоставило политику полного разрыва как с тем, так и с другим. «Противопоставление германского и антигерманского империализма лежало в плоскости буржуазной идеологии, — справедливо указывает М. Н. Покровский, — пролетариату нужно было именно «пролезть в щель», т. е. сманеврировать так, чтобы остаться вне пределов достижения как для того, так и для другого». Такое маневрирование и составляло основной смысл Брестского мира, ибо этот мир не только прекращал войну, но и в максимально возможный в тот период степени выводил Советскую Россию из орбиты влияния обеих империалистических групп. В отношении союзников Брестский мир означал, так сказать, ipso facto полное уничтожение тех цепей, которыми Россия была прикована к антантовской колеснице царским и в особенности временным правительством: аннулирование договоров, военных долгов, займов и пр. Недаром «нарушение союзных обязательств» было главным аргументом, который правительства и дипломаты Антанты выдвигали не только против Брестского мира, но и против признания советского правительства. Исторически в этом разрыве с Антантой был самый значительный реальный эффект Брестского мира и поэтому, может быть, вполне прав М. Н. Покровский, когда он замечает, что «в Брестском мире... был не столько важен мир с германцами, сколько разрыв с Антантой» [28].

Но и в отношении Германии заключенный с ней сепаратный мир не означал какой бы то ни было связи с ее империалистической поли-

тикой. Здесь центр тяжести лежит в самых условиях мира, которые отстаивало советское правительство. Ибо планам немецкого империализма оно противопоставило такие условия мира, о которых не только никто не мог сказать, что дело идет о какой-нибудь закулисной сделке, но которые разоблачали немецкий империализм и революционизировали широкие народные массы тех стран, на которые он простирал свою лапу, и пролетариат самой Германии. На это вполне отчетливо указывала тогда советская мирная делегация. «Именно потому, — пишет Каменев в своем отчете о ходе брестских переговоров, — что русские условия мира исключают по самому своему существу всякую мысль о задних планах собственного господства, они ставят германский империализм перед выбором: или, приняв эти условия, показать перед собственным народом всю преступную бесплодность трехлетней бойни или, отвергнув эти условия, выступить перед всем миром в неприкрытом виде грабителя и стать под объединенные удары берлинских, варшавских и рижских рабочих» [29].

Только на основе такого мира, мира, разрывающего все связи с империализмом, навсегда выводящего страну из орбиты какой бы то ни было империалистической политики, можно было на деле и окончательно вырваться из империалистической войны, ибо эта война была лишь «продолжением другими средствами» предшествующей «мирной» политики империализма. Но такой выход из войны возможен был только для государства, в котором власть перешла в руки пролетариата, ибо только пролетариат и его революционная партия способны были действительно вывести Россию из войны и повести такую политику, которая, если не повсюду, то хотя бы на одном важном участке взорвала политику мирового империализма.

Это особенно ярко выступает при сопоставлении этой революционной внешней политики с диаметрально-противоположной ей политикой социал-демократии. Вся суть этой противоположности очень точно и кратко была сформулирована в одной из статей «Vorwärts» от 26 февраля 1917 г.: «Различие между социал-демократической политикой и большевистской становится ясно. Мы хотим прежде всего защитить отечество, а потом уже сделать его социалистическим, а большевики хотят сначала его сделать социалистическим, а потом защищать его». И действительно, политика немецкой социал-демократии в вопросе о мире сводились к наиболее широкой и неограниченной защите германского империалистического правительства. Тем, что последнему удалось в значительной мере нейтрализовать влияние советской политики мира на германский пролетариат, оно обязано почти целиком социал-демократии, Насколько ценно было для германского правительства сотрудничество социал-демократии, можно заключить из одного письма зам. секретаря фон-Радовица к представителю имперского канцлера при верховном командовании, графу Лимбург-Стируму, в котором фон-Радовиц предостерегал правительство от слишком резких воинственных жестов. «Это сотрудничество, — писал он, — нам нужно,

пока продолжается война, ибо социал-демократия в случае грубого отношения правительства прекратит свое сотрудничество с ним, она потеряет в тот же момент охоту и возможность выступать в защиту намерений правительства перед своими избирателями и в особенности перед профсоюзами. Союзы попадут тогда в руки независимцев, и опасность, что тогда действительно будут происходить стачки и т. п., становится тогда очень велика... [80]. Мы должны их поэтому твердо удержать за собой и не должны забывать, что русский пример, несмотря на все, может подействовать и у нас и иметь дурные последствия, если дурные элементы не будут сдерживаться собственными вожаками». На русскую революцию в отношении ее практической оценки немецкие социал-демократы смотрели глазами своих империалистов. До Октября, а отчасти и в первые дни после Октября, в те моменты, когда правительство видело в большевиках средство военного ослабления России и путь к сепаратному миру с нею, социал-демократы, в большинстве весьма «симпатизировали» большевикам. Кунов в одной из своих статей в «Neue Zeit» от 12 октября защищал даже их от нападок меньшевиков и эсеров, а «Vorwärts» от того же числа объявил, что он видит в лице большевиков — «социалистов и братьев по классу» и что их первые действия после захвата власти «вполне достойны социализма». Любопытно при этом, что подобные симпатии, которые были, по справедливому выражению Фрелиха, не чем иным, как «империалистической спекуляцией», больше исходили от правого, аннексионистского крыла социал-демократии. Когда же дело дошло до брест-литовских переговоров, на которых развернулась упорная борьба советской делегации с германским империализмом, когда до германского пролетариата стали доноситься революционные призывы советского правительства, отношение социал-демократов резко изменилось. Поднялась самая бешеная травля. Тот же «Vorwärts» писал уже, 15 февраля 1918 г., что «то, что творят большевики в России, — это не социализм, не демократия, это насильнические бунтарство и анархия», что «это господство необузданной большевистско-социалистической солдатчины следует также отвергнуть, как господство царской солдатчины» и т. д. Что же касается самого вопроса о Брестском мире, то здесь немецкие социал-демократы по гнусности превзошли самих себя. В то время как они защищали аннексионистские требования германского империализма, в то время как они одобряли решительные действия немецкой делегации в Бресте, в то время как в с.-д. фракции рейхстага только 12 голосов было за отклонение Брестского договора, а 25 — за ратификацию и т. д. — в это же самое время социал-демократическая пресса осыпала большевиков упреками в оппортунизме, в измене социализму, в содействии германскому империализму и даже в закулисной сделке с последним. Высшим перлом в этом отношении является статья Фридриха Штампфера под заглавием: «Большевизм», которую он опубликовал в «Votwárts» от 24 февраля 1918 г. «Да, — восклицал он, — если большевики и

германские аннексионисты объединились, то что можем против этого поделать мы — германские социал-демократы?»... Подобного рода упреки находили весьма созвучный отклик среди социалистов другого империалистического лагеря. Последним это было, так сказать, и «по чину положено». Эльзасский социал-демократ Грумбах (он был агентом не Германии, а Антанты) выступил 24 января в унион-зале народного дома в Берне с особым докладом о Бретском мире, в котором он как бы суммировал все то, что до сих пор было сказано социалистами Антанты. В этом докладе он назвал три главных «измены делу социализма» со стороны большевиков: разложение ими русской армии, которая могла бы еще вести революционную войну против германского кайзера, допущение переброски немецких войск с восточного фронта на западный (как известно, требование о непереброске войск было самым основным условием со стороны советской делегации в прелиминарных переговорах. — *Д. Л.*), и согласие большевиков сесть за один стол с представителями немецкого милитаризма. Если бы они были революционерами, — патетически восклицал он, — они должны были бы заявить Гофману, что не признают в нем представителя немецкого народа и потребовать контроля рейхстага над ведением переговоров, освобождения революционеров и вообще ненарушения демократических гарантий внутри страны. Они должны были бы, по его мнению потребовать признания принципов международного арбитража и разоружения (sic!), которые являются «самыми важными лозунгами всего международного социализма» и т. д. [81].

Интересно сравнить внешнюю политику Октябрьской революции, открыто провозгласившей перед всем миром свои революционные принципы, активно взорвавшей все международные империалистические связи страны, с политикой буржуазной революции в России, которая в отношении внешней политики ограничилась, по выражению Ленина, тем, что вместо царизма и империализма мы получили «почти республику, империалистскую насквозь». Однако для целей такого сравнения важны политика не откровенного империализма, не Милюков, который открыто говорил, что он не предвидел и не хотел этой революции перед лицом неприятеля и что он вступил в нее только для того, чтобы довести войну до победного конца, — а политика трусливого, замаскированного империализма, прикрывавшаяся революционной фразеологией, политика керенщины. Керенский — типичный образец мелкобуржуазного революционера, ублюдок революции. Его внешняя политика — такая же ублюдочная политика, политика именно трусливого империализма. С одной стороны, под давлением народных масс, пугаясь этих масс, он провозглашал мнимо революционные лозунги, делал радикальные жесты, с другой стороны — он еще больше, чем его откровенно-империалистические предшественники, становился на задние лапки перед союзными империалистами, прося их извинить его вынужденную революционность, которая необходима ведь только для того, чтобы обманывать народ-

ные массы. Декларация коалиционного правительства (от 6 мая 1917 г.), которую Керенский опубликовал, приходя к власти, начиналась с провозглашения весьма радикального лозунга мира. «Отстаивая во внешней борьбе великие начала свободы, — гласила 1-я статья декларации, — Россия стремится к достижению всеобщего мира на основаниях, исключающих всякое насилие, откуда бы оно ни исходило, равно как и всякие империалистические замыслы, в какой бы форме они ни проявлялись...» и т. д. А через несколько дней министр иностранных дел Терещенко успокаивал уже японского посла, что «первая статья декларации коалиционного кабинета ни в коем случае не имеет смысла предложения о немедленном общем мире. Вопрос о всеобщем мире возникает только после окончания войны. Война ни в коем случае не прекратится и, конечно, будет продолжаться» Впрочем, союзные послы и без того понимали, чем вызывается эта декларативная революционность, и поэтому в известной мере даже помогали Керенскому. «Политическая атмосфера такова, — писал английский посол Бьюкенен, — что он (Керенский. — *Д. Л.*) не осмеливается призывать войска сражаться ради победы, но только ради скорого заключения мира, потому что желание мира стало всеобщим. Это-то обстоятельство и делает для нас существенно важным не предпринимать ничего такого, что могло бы дать повод здешним сторонникам мира утверждать, что союзники продолжают войну ради империалистических целей» [32].

Фактически Керенский, именно как «социалистический» министр, становился самым непосредственным агентом Антанты, на которого она ставила последнюю ставку и которому оказывала политическую поддержку, требуя за это выполнения ее прямого задания: удержать Россию в войне. Еще до образования коалиционного министерства французский посол Палеолог предусмотрительно сообщал во Францию о Керенском: «Это — человек, которого мы должны попытаться привлечь на нашу сторону. Он один способен втолковать Совету необходимость продолжения войны и охранения союза». А через две недели после прихода его к власти, 21 мая 1917 г., Бьюкенен писал в «Форейн-Оффис»: «Новое коалиционное правительство, как я уже телеграфировал, представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте. Керенский, принявший на себя обязанности военного и морского министра, не есть идеальный военный министр, но он надеется, что, отправившись на фронт и обратившись со страстным призывом к патриотизму солдат, он сможет гальванизировать армию и вдохнуть в нее новую жизнь. Это—единственный человек, который может сделать это, если это вообще возможно». И чем дальше русская революция всем ходом событий шла к миру, тем все больше усугублялась эта лакейская роль Керенского. После неудачи июльского наступления Антанта совсем перестала с ним церемониться. Ее пресса громко кричала, что «Керенский выдохся», а в правительственных сферах союзников открыто обсу-

ждали новую кандидатуру Корнилова. Союзные послы чувствовали себя в России некоронованными императорами и уже отдавали приказания Керенскому и в области внутренней политики, во всем том, что им казалось нужным для поддержания русского фронта. В начале октября состоялось знаменитое выступление союзных послов у Керенского, на котором они весьма недвусмысленно указали ему на то, что «общественное мнение в союзных странах может потребовать от своих правительств отчета за материальную помощь, оказанную ими России. Русскому правительству, — заявили они, — надлежит доказать на деле свою решимость применить все средства в целях восстановления дисциплины и истинного воинского духа в армии, а равно обеспечить правильное функционирование правительственного аппарата как на фронте, так и в тылу». В заключение они в довольно решительном тоне выразили «надежду, что русское правительство выполнит эту задачу, обеспечив себе таким путем полную поддержку союзников». Керенский страшно растерялся от такого гнева своих хозяев, но прежде всего он попросил послов сохранить это выступление в секрете, так как боится «раздражения общественного мнения». Затем он стал робко оправдываться, убеждать их, что правительство вполне доказало подобную решимость, что страна принесла большие жертвы союзникам и т. д., а для храбрости заключил, что «Россия все же является великой державой» [33]. Положение Керенского, действительно, было «незавидное». Антанта категорически требовала от него суровых внутренних мер, беспощадного подавления большевизма, а он, несмотря на всю готовность исполнить приказание, боялся волнений рабочих масс и не мог проявлять ту решительность, которую внушали ему империалисты. Бьюкенен описывает в своих мемуарах весьма любопытную беседу, которая произошла у него с Керенским уже совсем накануне Октябрьского переворота. «Я сказал, — пишет Бьюкенен, — что мы высоко оцениваем усилия, которые он (т. е. Керенский *Д. Л.*) делает для того, чтобы вдохнуть жизнь в армию, и я верю, что он может еще добиться успеха. Однако уже не остается времени для полумер, и железная дисциплина, о которой он так часто говорил, должна быть установлена во что бы то ни стало. Большевизм является источником всех зол, от которых страдает Россия, и если бы он только вырвал его с корнем, то он перешел бы в историю не только в качестве вождя революции, но и в качестве спасителя своей страны. Керенский признавал справедливость высказанного мною, но заявил, что он может это сделать только в том случае, если большевики сами вызовут вмешательство правительства путем вооруженного восстания. Так как он прибавил, что они, вероятно, устроят восстание в течение ближайших пяти недель, то я выразил надежду, что он на этот раз не упустит случая, как он это сделал в июле» [34].

Керенщина не только неспособна была занять самостоятельную по отношению к мировому империализму позицию, но главное, что лежало в сущности ее внешней политики, было включение России

в систему той или иной международной империалистической группировки. Терещенко в своем докладе комиссии по иностранным делам Временного совета Российской республики именно так и ставил вопрос: что для России выгоднее — связь с Германией или связь с Антантой; он пришел к выводу, что «не подлежит сомнению, что сохранение экономической связи с союзниками в гораздо большей степени обеспечило бы нашу экономическую независимость» [35]. Предчувствуя недовольство Англии и Франции, он заблаговременно стал искать тесного сближения с Америкой и производил осторожные разведки в отношении будущего постоянного русско-американского «сотрудничества». «Получение в будущем широкой финансовой помощи, — сообщал ему в секретной телеграмме (от 4/VII 1917 г.) русский посол в Вашингтоне Бахметьев, — возможно лишь исключительно при принятии Россией совершенно определенного политического курса с вовлечением Америки в политические взаимодействия такого характера, естественным последствием которых явится необходимость финансовой нам помощи». То, что Терещенко говорил деловым политическим языком, Керенский облекал перед народными массами в «революционную» и «демократическую» форму.

Такая двойственная, половинчатая внешняя политика, ублюдочные революционные жесты под давлением революционно настроенных народных масс — с одной стороны, и полная неспособность стать на путь революционного интернационализма, вырваться из сети прежних реакционных международных связей — с другой, отнюдь не представляет собою местной особенности Февральской революции в России, а она характерна для буржуазной революции вообще в ту эпоху, когда буржуазия уже перестает быть прогрессивным и революционным классом. Полную аналогию в этом отношении с политикой Керенского представляет собой внешняя политика Ламартина во время революции 1848 года во Франции.

Первое, что поспешил сделать Ламартин с приходом к власти временного революционного правительства, это — заверить иностранные государства, что новое правительство стремится поддерживать со всеми державами дружественные отношения и что революция нисколько не угрожает какому бы то ни было, даже самому реакционному из существующих порядков. С этой целью он 3 марта 1848 г. издал свой знаменитый манифест, «циркулярную ноту дипломатическим агентам Французской республики», в которой излагал принципы и цели своей внешней политики. «Провозглашение французской республики, — гласил этот манифест, — не является аггрессивным актом против какой-либо формы правления на свете...— Монархия или республика не является в глазах истинно государственных людей абсолютными принципами, борющимися насмерть. Это—факты противоположные, которые могут уживаться, понимая и уважая друг друга». На протяжении всего манифеста Ламартин неоднократно подчеркивал ту резкую противоположность, которая лежит между Великой

французской революцией той эпохи, когда она боролась с феодально-монархической Европой, ведя освободительные войны, и нынешней революцией, которая стремится только к миру со всеми государствами. «Война не составляет таким образом принцип французской республики, как она явилась фатальной и славной необходимостью в 1792 году. Вчерашняя революция является шагом вперед, а не назад... Весь мир и мы, — объявляет он в заключение, — мы хотим вместе итти к братству и к миру»... Под «миром», как уточнял впоследствии свой циркуляр Ламартин, подразумевалось «уважение к территориальным изменениям, установленным трактатами», т.-е. трактатами 1815 года, принятыми Священным Союзом. По этому поводу внутри самого правительства развернулась борьба. Левонастроенные члены кабинета, в особенности Луи Блан, требовали, чтобы Ламартин публично объявил в манифесте об отказе Франции от трактатов 1815 г. Но Ламартин, боясь показаться недостаточно революционным перед страной, еще больше боялся показаться слишком революционным перед иностранными правительствами. «Чтобы выйти из затруднения,— описывает это Луи Блан, — прибегли к компромиссу, заключавшемуся в том, чтобы, с одной стороны, торжественно отвергнуть обязательность трактатов 1815 года, а с другой стороны признать существующие территориальные отношения»... Впрочем, такая компромиссная формулировка была даже излишня. Смысл непризнания трактатов 1815 года состоял в отказе от соблюдения принципа легитимизма, а Ламартин тем не менее втихомолку обещал иностранным послам, что Франция не будет вмешиваться в дела ни одной страны, «иначе как по требованию ее государя или правительства», т. е. что она не будет оказывать помощи никакому революционному движению в другой стране. На деле Ламартин делал даже больше того, чего требовало это обещание. Путем тайных сношений с заинтересованными правительствами он предавал планы иностранных революционных клубов, которые находили убежище в Париже и которые на глазах парижских революционных масс Ламартин всячески приветствовал. Такая «двойственность» — самая характерная черта всей политики Ламартина. Вот как характеризует эту политику один из выдающихся историков Французской революции 1848 г. Луи Эритье: «С одной стороны, он (Ламартин. *Д. Л.*) мог оправдать безучастное отношение Франции к европейским революциям, приписывая абсолютистским правительствам качество, которого у них не было; с другой стороны он хотел несколько умерить революционный пыл своего народа, требовавшего поддержки революционных движений в остальной Европе; таким двусмысленным аргументом он рассчитывал сохранить хоть тень благосклонности народа. Как ни жалка была роль государственного мужа и дипломата Ламартина, он отлично понимал, что важнее всего для временного правительства уверить иностранные державы в своем миролюбии и, искусно лавируя, сдерживать желания и надежды своего народа» [86].

В своей непосредственно дипломатической деятельности Ламартин больше всего стремился к прочному союзу с Николаем I, самым реакционным, полуфеодальным монархом Европы. «За время моей дипломатической карьеры, — говорил он, встретившись с графом Киселевым, царским послом в Париже, — я часто думал и пришел к заключению, что самый естественный для Франции союз — это союз с Россией. Если бы польский вопрос не завоевал бы у нас несколько искусственных симпатий, которые поддерживали дурные отношения между правительствами, этот союз давно бы реализовался к выгоде обоих народов, которые, может быть, по духу более родственны между собой, нежели какие бы то ни было другие... Все это дело времени и благоприятных обстоятельств». Он клятвенно заверял графа Киселева, что Франция не будет оказывать никакой поддержки освободительной борьбе польского народа, он горячо убеждал его, что революция во Франции не может никоим образом помешать установлению дружественных отношений с Россией. Киселев, получивший вначале твердую инструкцию от своего министра Нессельроде немедленно покинуть Париж, решил оставаться в нем на свой страх и риск. Ибо Николай, который услышав первую весть о революции во Франции, вскричал: «господа, на коня — в Париже революция», после сообщений Киселева должен был быть совершенно успокоенным. «То, что Киселев мог сообщить и Нессельроде и Николаю после своей беседы с главой временного революционного правительства Франции, — замечает М. Н. Покровский, — почти могло служить утешением в падении Меттерниха и на добрых три четверти обезвреживало конституцию, дарованную своему народу Фридрихом-Вильгельмом IV» [37].

Таковы те исторические примеры, на фоне которых внешняя политика Октябрьской революции еще ярче вырисовывается, как политика революционного класса, который выступает на международной арене не в «национальных» интересах своей страны, а в интересах всего мирового пролетариата.

Политика революционного пролетарского интернационализма проникает собою весь период Бреста, начиная с декрета о мире и кончая самым подписанием «похабного» мира. Но на отдельных этапах брестского периода эта политика, в зависимости от особых условий реальной международной обстановки, принимала особые формы и выдвигала перед пролетарским государством особые проблемы.

Ленин неоднократно подчеркивал, что «только благодаря тому, что наша революция попала в этот счастливый момент, когда ни одна из двух гигантских групп хищников не могла немедленно наброситься одна на другую, ни соединиться против нас, — только этим моментом международных политических и экономических отношений могла воспользоваться и воспользовалась наша революция, чтобы проделать это свое блестящее триумфальное шествие в Европейской России»... Вместе с тем, что особенно важно подчеркнуть, только

выступить против мирового империализма на международной арене, «только этим мы обязаны тому, что Советская республика открыто провозгласила борьбу империалистам всех стран, отняв у них капиталы в виде заграничных займов, бивши их по лицу, открыто задевая по разбойничьему карману» [38].

Но когда к концу брестского периода выяснилось, что мировая революция задерживается, что революционная ситуация такова, что нельзя ожидать в ближайший момент поддержки Октябрьской революции пролетариатом других стран, когда германский империализм навязывал Советской республике грабительский мир, угрожая немедленным наступлением, которое она никак не в силах была отразить, тогда проблема революционного интернационализма встала по-другому: необходимо было во что бы то ни стало сохранить ту страну, в которой диктатура пролетариата уже существует, сохранить ее как очаг мирового революционного движения. «Положение дел с социалистической революцией в России, — писал тогда Ленин в «Тезисах о мире», — должно быть положено в основу всякого определения международных задач новой советской власти, ибо международная ситуация на 4 году войны сложилась так, что вероятный момент взрыва революции и свержения каких-либо из европейских империалистских правительств (в том числе и германского) совершенно не поддается учету» [39]. Иными словами, проблема революционного интернационализма встала как проблема передышки.

Этого-то ни как ни могли понять так называемые «левые коммунисты», троцкисты и все те, кто не шел за Лениным. Тактика передышки представлялась им как нечто диаметрально противоположное интернационализму. «Нужно прямо признать, — писал Иоффе в своей брошюре «Внешняя политика Советской России», — принятие тактики «передышки» означало п о л н ы й о т к а з от прежней революционной внешней политики: на международной арене Россия выбывала в качестве фермента революции; единственным революционизирующим Европу моментом оставался теперь только самый факт существования российской революции». А в «Тезисах о текущем моменте левых коммунистов» тактика передышки была заклеймена еще резче. «Этот путь закрепит начатое Брестским миром отделение «Великорусской» Советской республики от революционного движения общероссийского и международного, замыкая ее в рамки национального государства»...

Между тем тактика передышки диктовалась интересами именно международного революционного движения, а не «национального государства». Ибо при той объективной обстановке, когда Советская республика не могла еще опереться на революционную поддержку пролетариата других стран, которая дала бы ей возможность взорвать мировой империализм, самая важная задача международной революции состояла в том, чтобы продержаться социалистической революции в одной стране до тех пор, пока не последуют революции в других странах. Это должно было быть положено в основу всей

внешней политики Советской республики. В этих условиях надо было использовать те противоречия между двумя враждующими группировками империалистов, которые парализовали их поход против нее, надо было играть на этих противоречиях для того, чтобы в максимально возможной для каждого данного момента степени освободиться от влияния каждой из этих группировок. В период Бреста этой задаче больше всего отвечало заключение сепаратного мира с Германией, ибо, как справедливо указывал Ленин левым коммунистам, «революционная война в данный момент сделала бы нас объективно агентами англо-французского империализма». Однако, когда Германия после разрыва переговоров начала наступление и на наше сообщение о согласии возобновить переговоры медлила с ответом, когда казалось, что Советской республике грозит немедленное удушение, советское правительство обратилось к стране с воззванием «защищать каждую позицию до последней капли крови». и мобилизовало для этого все доступные средства, в том числе и «дипломатические». Когда в это время французская военная миссия предложила Наркоминделу помощь против немцев, то ЦК 6 голосами против 5 высказался за принятие помощи, причем не имевший возможности присутствовать на заседании ЦК Ленин прислал следующую записочку: «Прошу присоединить мой голос за взятие поддержки у разбойников англо-французского империализма. Ленин». Аналогичный пример представляют собой переговоры Ленина с Буллайтом. Позднее, в разгар первой интервенции, когда в августе 1918 г. Антанта заняла Архангельск и быстро продвигалась от него к югу, Ленин сделал обратного рода попытку использовать для спасения республики антагонизм двух империалистических коалиций. По его совету, Чичерин лично отправился к германскому послу Гельфериху, чтобы предложить ему условиться о совместных действиях против войск Антанты и «добровольческой армии» ген. Алексеева на юге и у Белого моря [40]. Такое маневрирование отнюдь не означало перехода к методам обычной традиционной дипломатии, ибо как исторической, так и логической его предпосылкой был полный и абсолютный разрыв с политикой империалистов, после которого в дальнейшем уже не могло оставаться ни малейших сомнений, во имя каких целей и каким путем проводится это маневрирование.

Весь принципиальный классово-политический смысл этой тактики, заложенный Брестом и вошедшей в историю под названием «тактики передышки», наиболее четко и просто был сформулирован Лениным в следующих словах: «Пока не вспыхнула международная, несколько стран охватывающая, социалистическая революция, настолько сильная, чтобы она могла победить международный империализм, до тех пор прямой долг социалистов, победивших в одной (особенно отсталой) стране, не принимать боя с гигантами империализма, стараться уклониться от боя, выждать, пока схватка империалистов между собою еще более ослабит их, еще более приблизит революцию в других странах» [41].

ГЛАВА ВТОРАЯ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ

Октябрьская революция взорвала арену империалистической войны, провозгласив лозунг немедленного всеобщего мира. Но этот подрыв развернулся и в другом направлении, в направлении борьбы за освобождение угнетенных империализмом народов. Мировая война обострила национальный гнет как в колониях, так в особенности и в Европе до крайних, неслыханных еще пределов. Аннексии уже не только стали обычным явлением, но органически врастали в самый процесс войны. В этой обстановке Октябрьская революция выдвинула в качестве важнейшего условия мира требование полного самоопределения наций. Разумеется, это требование могло осуществиться на деле лишь в результате взрыва всей империалистической системы и в первую очередь империалистической войны. Но оно и было тем лозунгом, который направлял широкие массовые движения среди угнетенных народов на борьбу против империализма и соединял их с революционным движением пролетариата воюющих стран. «Для того, чтобы мы были в силах совершить социалистическую революцию и низвергнуть буржуазию, — писал Ленин во время войны, — рабочие должны соединиться теснее, а этому тесному соединению служит борьба за самоопределение, т.-е. против аннексий» [42]. Оба лозунга революционного мира — мир и самоопределение наций — были именно потому неразрывно связаны друг с другом, как две стороны одного целого, что оба они выдвигались не как абстрактные принципы, а как призыв к борьбе с войной и к свержению империализма.

Принцип самоопределения наций является важнейшим пунктом той демократической программы, которую должна осуществить пролетарская революция. «Победоносный социализм необходимо должен осуществить полную демократию, — писал Ленин в своих знаменитых тезисах «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», — а следовательно, не только провести полное равноправие наций, но и осуществить право на самоопределение угнетенных наций, т.-е. право на свободное политическое отделение» [43]. Но пролетариат борется за это требование и до революции, в условиях империалистического строя. Он отстаивает его как в целях довершения буржуазно-демократического преобразования, так и в целях слияния

классовой борьбы рабочего класса с освободительным движением угнетенных народов. Пролетариат использует эту политическую форму буржуазной демократии, подчиняя ее задачам своей борьбы против главного врага, против империализма.

Идея самоопределения наций родилась в огне Великой французской революции. В борьбе с феодальным строем идеологи революции создали не только новое учение об отношениях между государством и индивидом, но и новую доктрину международных отношений. Опираясь на «Общественный договор» Руссо, они провозгласили естественное и неотчуждаемое право каждого народа на полный суверенитет. «Каждая нация одна лишь может давать себе законы и неотчуждаемое право поступать по своей воле, — говорил Кондорсэ в Законодательном собрании. — Это право не принадлежит ни одной нации, или оно принадлежит всем в равной мере (avec une entiére égalité); нападать на это право в отношении одной из них — значит объявлять, что не признаешь его и в отношении всякой другой. Те, кто хотят отнять его у чужого народа, тем самым объявляют, что не уважают его и в отношении того самого народа, гражданами или властителями которого они являются; это значит — изменять родине, это значит — объявлять себя врагом человеческого рода» [44]. Таким путем из права суверенитета непосредственно вытекало запрещение войн, направленных против блага и свободы какого бы то ни было народа. Такие войны получили название наступательных войн и были объявлены преступлением против всего человеческого общества. «Нападающие на свободу одного народа суть преступники против всех других», — гласила декларация аббата Грегуара. Законными признавались только оборонительные войны, т. е. войны, предпринятые с целью защиты своей свободы и законного права. «Оборонительная война, — по словам герцога Левиса, — является справедливой и законной: отразить нападение своих врагов — это естественное право, но ничто не управомачивает (n'autorise) к нападению; поэтому никто не имеет права вести наступательную войну» [45].

Идея свободного общения равных индивидов была перенесена в область отношений между народами. «Нации, как и люди, — указывает аббат Грегуар, — имеют право организовываться и соединяться вместе, заключая между собой договор как равная с равной» [46]. Здесь международно-правовая доктрина Французской революции непосредственно исходит из «Общественного договора» Руссо. Общая воля компетентна не только решать вопрос о государственном строе данной нации, она компетентна также решать вопрос и о соединении с другими подобными ассоциациями и устанавливать форму этого соединения [47]. Так из права государственного суверенитета вытекает право свободного самоопределения наций. И политические деятели революции ссылаются на это право в любом дипломатическом акте. «Неотъемлемым правом каждой нации, — говорил Карно в Национальном конвенте, формулируя принципы присоединения соседних территорий

к Французской республике, — является жить изолированно, если ей это нравится, или соединиться с другими нациями, если они того желают, для общего блага... И... так как право верховного суверенитета принадлежит всем народам, то их слияние и объединение может иметь место только на основе свободного и формального договора между ними; ни один из народов не имеет права подчинить другой своим общим законам без его особого на то согласия. Это согласие не может даже лишить их права вернуть себе свою прежнюю независимость, когда они захотят этого, ибо народный суверенитет и свобода неотчуждаемы; вот принцип, устанавливающий между нациями такое же равенство прав, как и между отдельными лицами» [48].

Этот принцип находит свое продолжение в идее всеобщей солидарности и братства народов. Подобно индивидам, народы могут достигнуть своих высших целей, только объединившись в единое общество. «Люди всех стран суть братья, — доказывал Робеспьер, — и различные народы должны помогать друг другу в меру своей возможности, как граждане одного и того же государства... Как только народы осознают свои истинные интересы, они протянут друг другу руки для установления мира» [49]. Из этого вытекал высший принцип общения между народами, который аббат Грегуар называет «естественным законом, существующим у больших корпораций человеческого рода»; этот принцип был сформулирован в «Декларации прав народов»: «Частный интерес одного народа, — гласит 5-я статья этой декларации, — должен подчиняться общему интересу человеческой семьи».

Таким образом, международно-правовая доктрина французской революции завершает свой логический путь. Ее центральной идеей является право суверенитета и национального самоопределения, но она не останавливается на этом. Исходя из идеи прав индивида, она через идею суверенитета приходит к принципу мирового общества народов. «Она, — по выражению Редслоба, — имеет геометрическое представление о жизни народов. Она рассматривает граждан как точки, государства — как линии и международное — общение как фигуру, которая из них получается» [50].

Однако на практике эта доктрина отнюдь не носила характера подобной геометрической фигуры. Буржуазные юристы и историки обычно любят изображать ее в виде голой абстрактной системы, развивающейся по своим внутренним логическим законам [51]. Отрывая ее от реальной почвы истории, они совершенно выхолащивают ее революционно-классовое содержание. В действительности же логический путь развития этих идей был тесно обусловлен историческим ходом развития самой революции и ее борьбы с феодальным миром. На отдельных этапах классовой борьбы эти идеи приобретали различное функционально-классовое значение.

Под этим углом зрения следует различать три основных периода в развитии революционной международно-правовой доктрины. В пер-

вый период, начиная с 1789 и кончая 1791 годом, когда против Франции подготовлялась европейская коалиция, а Франция, в силу внутренней слабости войны вести не могла и стремилась лишь к сохранению нового порядка, революционеры с особенной силой прокламируют неправомерность наступательных войн. «Ни одна нация, — говорил Жайет 18 мая 1790 г. в Национальном собрании, — не имеет права нападать на другую нацию, как ни один индивид — на другого индивида. Поэтому ни одна нация не может предоставить своему королю право нападения, какового она сама не имеет; этот принцип должен быть всюду священным для свободных наций» [52]. Стремясь привлечь к себе на случай войны симпатии соседних наций прирейнских провинций, они торжественно обещают, что Франция никогда не примет участия в завоевательной войне. 22 мая 1790 г. Национальное собрание издает декрет, в силу которого «французская нация отрекается от всякой войны, имеющей целью завоевания, и она никогда не употребит силы против свободы какого бы то ни было народа». Но главное, — политики Жиронды отнюдь не ставили своей целью революционное преобразование всей Европы, они стремились лишь сохранить свободу для самой Франции. В этот период принцип суверенитета не носит еще того всеобщего боевого характера, какой он приобрел впоследствии у якобинцев. Из него вытекают лишь запрещение посягательств на свободу чужого народа и наряду с этим установление мира между всеми нациями, которое усиленно пропагандировалось тогда жирондистами перед лицом угрозы войны. В их устах идея универсализма имела именно только такой ограниченный смысл. Это видно хотя бы из той декларации, которую предложил Вольней Национальному собранию 18 мая 1790 г. по поводу чрезвычайных вооружений Австрии и Пруссии: «В этой обстановке, когда оно (Национальное собрание) в первый раз устремляет свой зоркий взгляд по ту сторону границ империи, желая указать принципы, которые будут руководить им во внешних сношениях, оно торжественно декларирует: 1) что оно рассматривает универсальность человеческого рода, как не составляющего ничего иного, как одно и то же самое общество, предметом которого является мир и счастье всех и каждого из его членов; 2) что в этом большом общем коллективе народы и государства, рассматриваемые как индивиды, пользуются теми же естественными правами и подчиняются тем же законам правосудия, как индивиды коллективов частных и второстепенных; 3) что вследствие этого ни один народ не имеет права завоевывать собственность другого народа или лишать последнего его свободы и естественных преимуществ» [53].

Совершенно иной характер приобретает принцип суверенитета в последующий период революции, начиная с половины 1792 года, когда Франция вступила в революционную войну и когда у власти стали затем якобинцы. Под влиянием самого хода событий они наполнили этот принцип более четким классовым содержанием. Теперь

из него в первую голову вытекает обязанность Франции оказывать активную помощь каждому народу в его борьбе за свободу. Такое содержание идеи универсализма отчетливо выступает в речах политиков того времени уже при самых первых продвижениях французских войск. После занятия Майнца Карра говорил в Национальном конвенте: «Если вы объявляете суверенитет французской нации, то вы признаете суверенитет всех других наций. Поэтому ... вы должны объявить, что вы признаете суверенитет всех народов земли. Вы должны освободить ваших соседей от тирании. Вы не должны отказывать им в помощи, когда они бросаются в ваши объятия». А 19 ноября Национальный конвент вынес следующую резолюцию: «Национальный конвент объявляет от имени французской нации, что он обещает братскую помощь (fraternité et secours) всем народам, которые захотят вернуть свою свободу, и приказывает исполнительной власти дать генералам чрезвычайные приказы (les ordres nécessaires) о том, чтобы они оказывали помощь этим народам и защищали их граждан, которые были бы притесняемы и которые пожелали бы воспользоваться свободой».

Точно так же изменяет свое содержание и принцип самоопределения наций. И здесь самый ход классовой борьбы заставил якобинцев толковать его совершенно по-иному, гораздо более определенно и более революционно, когда они обсуждали вопрос о присоединении завоеванных стран. При первых завоеваниях французских войск Конвент исходил еще из прежней, жирондистской, абстрактно-либеральной интерпретации этого принципа. «Когда наши победоносные армии проникают в страну, радуясь, что они разбили оковы угнетенных народов, — говорил Грегуар на заседании Конвента 27 ноября 1792 г., — то они предоставляют им полную и неограниченную возможность решать самим вопрос о выборе своего правительства, не оказывая давления на их решение» [54]. А генерал Кюстин, вступив в Майнц, объявил на площади майнцским горожанам: «Если бы даже вы предпочли рабство благодеяниям свободы, вам предоставляется решить самим, от какого именно деспота желаете принять цепи... Следовательно, вы имеете верховное право решить: желаете ли сохранить свое прежнее устройство, избрать новое или принять французское» [55]. Но уже после реакционных восстаний против Франции, во Франкфурте и в бельгийских областях якобинцы резко изменили эту точку зрения. Наиболее ярко обосновал новый взгляд на самоопределение наций Камбон, который провозгласил лозунг: «Война дворцам мир хижинам». 15 декабря 1792 г. он выступил в Конвенте с обширным докладом о принципах войны и отношения к завоеванным странам. «Мы сказали народам: вы свободны, но мы ограничились словами», — заключил он, характеризуя поведение французских генералов в этих странах. И далее он заявил: «Но вы бы еще ничего не сделали, если бы ограничились низложением тиранов. Аристократия правит повсюду, поэтому надо уничтожить все существующие власти. Когда органи-

зуется революционная власть, то нельзя ничего оставлять из существующего при старом строе. Если бы мы руководились этими принципами с самого начала войны, то, быть может, нам не пришлось бы оплакивать смерть наших братьев во Франкфурте. В этом городе оставлены старые власти, и вы хотели, чтобы народ был свободен... Поэтому... нужно, чтобы установилось народовластие, чтобы были обновлены все органы власти, иначе во главе всех их останутся только наши враги. Вы не можете дать стране свободу, вы не можете оставаться там в безопасности, если прежние власти сохраняют свои полномочия. Необходимо, чтобы санкюлоты участвовали в правительстве»[56]. В том же заседании Конвента, по докладу Камбона, был принят новый декрет «о принципах революционной войны и оккупации». Этот декрет предписывает генералам республики во всех странах, которые заняты или будут заняты революционными войсками, произвести радикальную ломку всего существующего строя. Они должны немедленно по вступлении в ту или иную страну объявить отмену всех феодальных прав и привилегий и всех существующих властей и провозгласить суверенность народа. Они должны вслед за этим созвать народ на общественные собрания для того, чтобы создать и организовать временное революционное управление. Это управление должно находиться под контролем особых комиссаров Национального конвента, и власть его будет продолжаться до тех пор, пока не будет произведено полное революционное преобразование общественного строя страны. «Временное управление и функции национальных комиссаров прекратятся, — гласит ст. 9 этого декрета, — как только жители, провозгласив суверенитет народа, свободу и независимость, организуют свободную и общенародную форму правления». Следовательно, право суверенитета означает уже не безграничную свободу избрать любой государственный строй, а только право свободного выбора революционной и демократической формы власти, точно так же как и право самоопределения означает уже не полную свободу присоединения к любой державе, даже реакционной, а только право нации свободно решить вопрос о той или иной революционной форме своей международной организации, т.-е. либо образовать самостоятельное р е в о л ю ц и о н н о е государство, либо присоединиться к другому р е в о л ю ц и о н н о м у государству. Эта идея доводится до логического конца: «Народам, — говорил Камбон в цитированном уже докладе, — которые хотели бы сохранить привилегированные касты, надо сказать: вы наши враги; тогда с ними мы будем обращаться соответствующим образом, ибо они не хотят ни свободы ни равенства; если же, наоборот, они стремятся к свободному строю, то вы должны оказать им не только помощь, но и длительное покровительство»[57].

Таким образом, право самоопределения наций получало строго определенный классовый смысл. Такое понимание его, покоящееся в конечном итоге на идеях руссоизма («общая воля» и «воля всех»), было несомненно наиболее правильным для той эпохи и единственным

подлинно-революционным. Именно поэтому оно находилось в противоречии с обычным буржуазным абстрактно-формальным пониманием самоопределения. Сущность этого противоречия, хотя и по-своему, но очень хорошо отмечает Сорель: «Он (Конвент *Д. Л.*) создал опасное недоразумение между европейскими нациями и республикой; нации разумели под словом «народ» всю совокупность граждан, а под словом «свобода» — право народа распоряжаться собой по своему усмотрению; республика же разумела под именем народа — только одну общественную категорию граждан, а под понятием «свобода» и революционную систему во Франции» [58]. В то время не только из лагеря реакции, но даже из уст буржуазных современников раздавались возгласы о том, что принципы революционной оккупации противоречат провозглашенному французами принципу национального суверенитета. Это потом с особой аккуратностью повторяют почти все буржуазные исследователи Французской революции. Но даже и сами якобинцы не могли еще идеологически до конца осознать то, что они совершенно твердо проводили на практике. Они искали особого примирения между декретами 19 ноября и 15 декабря и прежними декларациями о свободе и находили его в высшем принципе интереса революции. Несколько дней спустя после издания декрета от 15 декабря министр иностранных дел говорил в своем докладе Конвенту: «Декреты, на которые жалуется английское министерство, могут применяться только в двух случаях. Прежде всего, когда республика находится в войне с другой державой; в этом случае никто не может оспаривать ее право делать в областях, которые она оккупирует, все то, что она хочет. Если же республика пребывает в мире с государством, в котором вспыхивает восстание, декреты все-таки могут быть применены, но с тем ограничением, которое вытекает из самого принципа революции. Если против существующего строя восстанут только несколько индивидов, то ясно, что Конвент никогда не будет иметь намерения делать из дела нескольких индивидуумов дело всей французской нации. Для того, чтобы республика вмешалась, нужно, чтобы порабощенный народ взялся разбивать свои оковы; нужно, чтобы народ, стремящийся к свободе, сорганизовался таким образом, чтобы его общая воля была ясно выражена; наконец, нужно, чтобы эта общая воля воззвала к братской помощи французской нации» [59].

Якобинские революционеры выше всего ставили интерес укрепления революции. Этот высший интерес конкретизировал содержание всех демократических принципов и чем дальше, тем все больше подчинял себе их. В докладе Карно от 17 февраля 1793 г. о принципах присоединения территорий к Французской республике право свободного самоопределения уже прямо ограничивалось интересом безопасности республики. «Никакое присоединение, увеличение, уменьшение или изменение территории не может иметь места, — говорил Карно, предлагая формулировку соответствующего декрета, — если не установлено..., что те коммуны, которых касается это изменение,

просили о нем сами посредством свободно выраженного и формального голосования... Но, — добавлял он, — только одно исключение может нарушить это общее правило: это—тот случай, когда присоединением может быть устранена опасность, грозящая одной из договаривающихся сторон, ибо... всякая политическая мера законна, если она является необходимой для спасения государства» [60].

В этом, однако, заключалась та лазейка, через которую якобинцы незаметно переходили на путь обычных территориальных планов. Еще во время итальянской экспедиции ген. Ансельма дипломатический агент республики в Генуе Нальяк писал ген. Лебрену: «Мне кажется правдоподобным, что в видах обеспечения свободы Французской республике, вы будете стремиться окружить ее мелкими государствами, которые, будучи освобождены от цепей деспотизма, останутся связанными с нею ради поддержания своей независимости». А уже с 1793 года умами якобинцев настойчиво овладевает идея «Рейнской границы», т.-е. план территориального расширения Франции до Рейна. Эта мысль не сходит с уст как политиков, так и генералов. «Не подлежит сомнению, — писал Дюмурье Кюстину, — что мы не должны складывать оружия ранее, чем получим уверенность, что Рейн станет границей нашему государству, будь то, при помощи объединения свободных республик под нашим протекторатом, или же путем принятия народов, которые захотели бы присоединиться к нам и войти в состав Франции. Люди робкие скажут, что это значит итти против наших принципов и бросаться в завоевания. Им можно ответить, что существует бесконечное различие между завоеванием, т.-е. актом насилия, и принятием в свою среду добровольно предлагающих себя народов, что есть акт братства» [61]. Но по мере роста военных успехов это различие все более и более стиралось, и республика постепенно переходила от планов распространения французской свободы к планам распространения французского национального могущества. «Границы Франции,— восклицал Дантон в Конвенте, — отмечены природой. Мы их расширим до четырех точек: у океана, берегов Рейна, Альп и Пиринеев. Никакая сила не остановит нас».

Правда, в то время еще распространение французского могущества было исторически в значительной мере идентично с распространением свободы и нового строя, однако и в этом отношении у якобинцев уже намечается отход от интернационализма в сторону чисто национальной политики. Через два с половиной месяца после произнесения своих крылатых слов о границах Дантон выступает в Конвенте с речью, которая в указанном отношении превосходно дополняет эти слова. «Настало время, граждане, — заявил он, — когда Национальный конвент должен показать Европе, что он умеет сочетать мудрую политику с республиканскими доблестями. В минуту энтузиазма вы издали декрет, основания которого, конечно, прекрасны, так как в нем вы обязывались оказывать покровительство народам, которые пожелают восстать против угнетения своих тиранов. Можно

подумать, что этот декрет обязывает вас помогать даже той кучке патриотов, которые захотели бы произвести революцию в Китае. Нужно прежде всего думать о сохранении нашего политического организма и об укреплении могущества французской нации. Пусть республика упрочится, и тогда Франция своей просвещенностью и энергией будет притягивать к себе все народы» [62]. И Конвент после этой речи принимает резолюцию, в которой «объявляет от имени французской нации, что он никоим образом не будет вмешиваться в область управления других держав» [63]. Эта резолюция воспроизводится потом в конституции 1793 года, 119 параграф которой гласит о том, что французский народ «не вмешивается в правительственные дела других наций».

В последующий период революции, после термидора, идеи суверенитета и самоопределения нации значительно меньше выражают уже свое подлинное содержание. Во время наполеоновских войн, так же как и во время войн директории, хотя и те другие были продолжением революционных войн, эти идеи служат только оправданием чисто завоевательных целей. Международно-правовая доктрина французской революции прекращает дальнейший путь своего развития. Не в том смысле, что она теряет свое историческое значение, а в том, что сильно изменяется то конкретное классовое содержание, которое создавало и развивало ее в предшествующие периоды революции.

Но эта доктрина оказала громадное влияние на все последующее развитие международных отношений. Под ее лозунгами в XIX веке проходили важнейшие национально-освободительные движения, которые наряду с общими буржуазно-демократическими преобразованиями, послужили основой для процесса национального объединения ряда крупных государств Европы. После июльской революции 1830 г. во Франции, окончательно подорвавшей господство системы легитимизма и пенитархии, произошло восстание Бельгии против голландского господства. В том же году произошло польское восстание, правда, подавленное царизмом. Революция 1848 г. в Германии и Италии дала новый толчок к борьбе за их национальную независимость. Под его влиянием несколько позднее окончательно завершился процесс национального объединения этих стран. Все эти движения, направленные на осуществление демократических принципов, провозглашенных Французской революцией, совершенно изменили систему международных отношений Европы и вместе с тем и их форму, т. е. самую систему международного права. На место феодально-абсолютистской международно-правовой системы, рассматривавшей нацию как объект собственности монарха и строившей международные отношения на династических договорах, Французская революция поставила новую, буржуазную систему международного права, которая исходит из принципов суверенитета и равноправия наций и основывает международные отношения на началах свободного и формаль-

ного договора между ними. Однако даже в эпоху своего расцвета буржуазное международное право никогда до конца не опосредствовало конкретные международные отношения; ибо в этих отношениях даже наиболее действительные формы суверенитета и равноправия государств никогда полностью не покрывают фактического соотношения сил. Поэтому на практике международные отношения нередко облекались в формы этих принципов чисто-внешне, а фактически не только не соответсвовали им, но даже резко противоречили. Особенно это относится к праву самоопределения наций. Оно, например, употребляется юристами при интерпретации таких актов, как постановления Парижского конгресса 1856 г. относительно Греции, или постановления Берлинского конгресса 1878 г. относительно Сербии и Румынии, — актов, представляющих собой не что иное, как обычный раздел чужих территорий, в котором соответствующие нации играют роль не выразителей своей суверенной воли, а роль объекта дипломатических комбинаций великих держав.

В эпоху империализма эти буржуазно-демократические принципы совершенно перестают выражать свое действительное содержание. Буржуазия становится регрессивным и реакционным классом, который несет стремления не к свободе, а к господству. Международные отношения представляют собою борьбу кучки великих империалистических держав за господство над остальным миром. В этой борьбе империалистическая буржуазия не только абсолютно не считается со свободой и самоопределением более слабых и отсталых народов, но и произвольно перекраивает их национальные границы, насильственно расщепляет одни нации, насильственно соединяет другие, полностью превращает их в объект своих великодержавных комбинаций. Преобладающим методом определения их «национального статуса» становится аннексия.

Также изменяется и само международное право. Первое место занимает в нем уже не понятие суверенитета, а понятие международной организации, международного порядка, которое означает на деле — режим господства, устанавливаемый несколькими господствующими империалистическими державами на основе неустойчивого, временного равновесия между ними, для остального колониального и полуколониального мира, для более слабых, подвассальных государств. На языке юристов понятие международного порядка иначе еще называется «международной солидарностью». Вот что, например, говорит о всей этой трансформации один из типичных дипломатов и юристов империалистической формации, Политис, в книге, специально посвященной «новым тенденциям в международном праве»: «Так понимаемая свобода государства (т. е. понимаемая в «современном» смысле. *Д. Л.*) аналогична свободе индивида. Она глубоко отличается от суверенитета. Далекая от того, чтобы быть абсолютной, она крайне относительна (essentiellement contingent). Она допускает переменные и бесконечные ограничения. Чем больше развиваются международные

отношения, тем меньше народы являются свободными. Каждому прогрессу их солидарности соответствует новое ограничение их свободы»[64]. Эту насквозь реакционную идею «солидарности» идеологи империализма окрашивают в пацифистско-демократические цвета всеобщего братства народов и даже изображают ее преемственницей идей Великой французской революции. В этом буржуазным юристам помогают буржуазные историки. Так, например, Редслоб в своей брошюре «Международно-правовые идеи Французской революции» (написанной во время войны), — где он изобразил эти идеи настолько абстрактно, что от их революционно-классового происхождения почти не осталось и следа, — в заключение выспренне заявляет: «В последние десятилетия государственный мир окончательно перешел в ту стадию развития, на которой торжествует высшая идея революции: солидарность наций приобрела материально-осязаемую форму (körperliche Gestalt) в обширной системе договоров. Народы объединяют свои силы для того, чтобы в совместной работе выполнять свое назначение. И для укрепления этого союза право ставится под коллективную гарантию. Основывается международная юрисдикция. Учение революции приводит к Гааге»[65]. После мировой войны, особенно в связи с возникновением Лиги Наций, рассуждения о «солидарности» еще больше усилились и не сходят с уст и пера подавляющего большинства буржуазных международников[66]. Эта идея в эпоху империализма сколь реакционна, столь же и лицемерна. Основной чертой империализма является ожесточенная и непрекращающаяся борьба между собой мировых империалистических хищников. Последние, разумеется, солидарны друг с другом в том, чтобы поддерживать международный режим, закрепляющий их господство над колониальным миром и более слабыми странами, — идея «международной солидарности» отражает несомненно именно эти тенденции. Но эта «солидарность» не выходит за пределы ни того равновесия сил, ни того промежутка времени, которое требуется им для того, чтобы переварить приобретенную уже добычу и приготовиться к очередной борьбе за новую.

Понятия суверенитета и равноправия еще продолжают занимать место в системе международного права. Но, сохраняя еще некоторое реальное значение во взаимоотношениях империалистических государств между собой, они в остальном превращаются в чисто внешнюю оболочку, в форму, органически уже не связанную со своим содержанием и по большей части не опосредствующую, а замаскировывающую подлинное содержание международных отношений, облекающую любое насилие, любое подавление национальной свободы. Дипломатия империалистических государств пользуется этими понятиями при любом акте аннексии, при любом разделе наций и территорий, подобном тем разделам, которые в свое время производили между собой абсолютные монархии. Тем самым империалистическая буржуазия невольно возвращается к феодально-династическим методам международной политики, с той только разницей, что насильственно

отчуждаемые территории и народы являются уже собственностью не абсолютного монарха, а «конституционной» и даже «республиканской» империалистической клики. Но при этом самое насилие проводится несколько по-иному. «Цари проводили политику аннексий грубо, обменивая один народ на другой по соглашению с другими монархами (раздел Польши, сделка с Наполеоном о Финляндии и пр.) как помещики обменивали крепостных крестьян, — отмечает Ленин, говоря о политике Временного правительства по отношению к Финляндии. — Буржуазия, становясь республиканской, проводит ту же самую политику аннексий более тонко, более прикрыто, обещая «соглашение»... [67]. Средство же для такого утончения и прикрытия и составляет в очень большой мере буржуазное международное право.

В частности заметное место занимают при этом те квази-либеральные принципы, которые империалистическая буржуазия, не избегающая иногда и того, чтобы использовать отдельные национальные движения в своих империалистических целях, как козырь в борьбе с соперником, употребляет в замену,—или в качестве «трансформированных»— старых буржуазно-демократических принципов. Первое место здесь занимает пресловутый «принцип национальностей». Он заменяет собою или, точнее, конкурирует со старым принципом самоопределения наций. По существу он имеет с последним то общее, что резко ему противоположен. Вот как характеризует его Энгельс: «Принцип национальностей» совершенно не касается основного вопроса о праве исторических наций Европы на национальное существование, а если и касается, то только для того, чтобы его отсранить. «Принцип национальностей» ставит двоякого рода вопросы: прежде всего вопросы о границах между этими крупными историческими нациями и, во-вторых, вопрос о праве на независимое национальное существование для тех многочисленных мелких остатков народов, которые после того как они в течение более или менее долгого периода времени были окончательно поглощены, вошли как составная часть одной из более могущественных наций, преодолевших препятствия благодаря большей жизнеспособности. Значение народа для Европы, его жизнеспособность — ничто с точки зрения «принципа национальностей»... Вся эта штука — абсурд, наряженный в популярный костюм для того, чтобы пускать пыль в глаза поверхностным людям и использовать это как удобную фразу или отбросить в сторону, если обстоятельства этого требуют» [68]. В свое время царская Россия под предлогом «принципа национальностей» постепенно поглощала Польшу и пыталась поглотить балканские народы. Теперь империалистическая буржуазия пользуется этим принципом, с одной стороны, для того, чтобы заслонить им принцип самоопределения наций, с другой стороны — для того, чтобы замаскировать те аннексии и разделы, которые разрезают на части национально-однородные территории и таким образом расщепляют целые нации.

Вместе с тем в эпоху империализма судьба национально-освободительных движений окончательно сливается с судьбой классовой борьбы пролетариата. «Для первой эпохи, — говорит Ленин, — типично пробуждение национальных движений, вовлечение в них крестьянства как наиболее многочисленного и наиболее «тяжелого на подъем» слоя населения, в связи с борьбой за политическую свободу вообще и за права национальности в частности. Для второй эпохи типично отсутствие массовых буржуазно-демократических движений, когда развитой капитализм, все более сближая и перемешивая вполне уже втянутые в торговый оборот нации, ставит на первый план антагонизм интернационально слитого капитала с интернациональным рабочим вдижением» [69]. Теперь борцом за демократические свободы и за самоопределение наций выступает пролетариат и широкие трудящиеся массы против реакционной великодержавной буржуазии. Пролетариат империалистических государств добивается полного самоопределения угнетенных наций, вплоть до свободы отделения и ставит его в качестве одной из первых задач революции. Разумеется, это отнюдь не является конечной целью пролетариата, — наоборот, конечной целью является интернациональное слияние трудящихся всех наций. Но право на самоопределение наций принадлежит к числу тех демократических требований, которые направлены против господства империализма и борьба за которые поэтому становится неотъемлемой частью классовой борьбы пролетариата и при этом отнюдь не вступает в разрез с задачами борьбы за социализм. «Было бы коренной ошибкой, — пишет Ленин в статье «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», — думать, что борьба за демократию способна отвлечь пролетариат от социалистической революции или заслонить, затемнить ее и т. п. Напротив, как невозможен победоносный социализм, не осуществляющий полной демократии, так не может подготовиться к победе над буржуазией пролетариат, не ведущий всесторонней, последовательной и революционной борьбы за демократию» [70]. Поэтому прелетариат борется за эти требования и за самоопределение наций не только в плане задач социалистической революции, но и в рамках империалистического строя, который неспособен полностью осуществить никакой демократии. Ибо хотя «господство финансового капитала, как и капитала вообще, неустранимо никакими преобразованиями в области политической демократии, а самоопределение всецело и исключительно относится к этой области, — но это господство финансового капитала нисколько не уничтожает значения политической демократии, как более свободной, широкой и ясной формы классового гнета и классовой борьбы» [71].

Здесь-то и сказывается то глубокое различие, которое существует в этом вопросе между пролетарской, революционно-марксистской позицией и позицией социал-демократии. Социал-демократия в национальном вопросе разделяет, по существу, буржуазную точку

зрения, ибо она неспособна отрешиться от обычного для буржуазии национализма. Этот национализм получает у нее лишь более утонченное и замаскированное выражение. Точка зрения социал-демократии на самоопределение наций выражается в основном в двух, как-будто даже противоположных друг другу, но в действительности имеющих один и тот же корень, формах. С одной стороны, социал-демократия вообще отказывается от поддержки национальных движений, под тем предлогом, что самоопределение наций — это буржуазный принцип, и не дело пролетариата его отстаивать. Например, социал-демократ Герин заявил на Брюнском партейтаге австрийской с.-д. партии: «Мне национальный вопрос представляется вопросом желудка для буржуазии, и, как таковой, он должен нас трогать очень мало». Это на первый взгляд, архи-ортодоксальное положение, поскольку оно исходит от социал-демократии великодержавных наций, в действительности выражает только ту поддержку, которую социал-демократия оказывает своей буржуазии, пытаясь отвлечь пролетариат от поддержки угнетаемых этой буржуазией наций. (Иное значение имеет этот взгляд у социал-демкоратии самих угнетенных наций, например, у польских левых социал-демократов в 1916 г.) С другой стороны, социал-демократия превращает борьбу за национальное самоопределение и свободу отделения из вопроса классовой борьбы пролетариата в самоцель и проповедует вечное закрепление национальных перегородок, делая из нации фетиш, рассматривая ее как надисторическую и, следовательно надклассовую категорию. Наиболее яркое выражение получил этот взгляд у Отто Бауэра, виднейшего теоретика австрийской социал-демократии по национальному вопросу. Соотношение национальной борьбы и классовой борьбы он ставит на голову: «Вовлекая пролетариат в борьбу против классового государства и классового общества, — пишет он, — мы выполняем нашу национальную задачу. Принципиально выдержанная интернациональная тактика, составляющая императив пролетарской классовой борьбы, является поэтому также орудием нашей национальной политики. Мы должны объединить пролетариев всех наций в могучий, вдохновляемый единой волей, организм, с той именно целью, чтобы сделать сокровища нашей национальной культуры достоянием всей нации, чтобы завоевать нашей нации единство и свободу»[72]. Вся сущность этой «интернациональной» политики состоит, следовательно, в том, чтобы закрепить национализм, увековечить обособленность наций, притом не только в отношении политической организации и территории, но и по линии культуры. «Все человечество будет группироваться по национальным обществам, призванным к самостоятельному развитию своей культуры и свободному пользованию ею: вот сущность социалистического принципа национальности»[73]. Практически этот идеал сводится у Бауэра к принципу так называемой «культурно-национальной автономии», т. е. к конституированному прочному обособлению и разделению наций в рамках единого государства на-

циональностей. Этот принцип, который, по словам Ленина, «означает именно самый утонченный и потому самый вредный национализм, означает развращение рабочих лозунгом национальной культуры»... и т. д., по существу представляет собой не что иное, как модную «социалистическую» перелицовку старого реакционного «принципа национальностей». Недаром Бауэр вслед за этим пространно доказывает, что историческое развитие ведет не к распаду Австро-Венгрии, а к преобразованию Габсбургской монархии в союзное государство национальностей.

«Марксизм непримирим с национализмом, — говорит Ленин по поводу этой «культурно-национальной» автономии, — будь он самый «справедливый», «чистенький», тонкий и цивилизованный. Марксизм выдвигает на место всякого национализма — интернационализм, слияние всех наций в высшем единстве... Принцип национальности (Ленин употребляет здесь это слово в смысле самоопределения наций, а не в смысле «принципа национальностей». *Д. Л.*) исторически неизбежен в буржуазном обществе, и, считаясь с этим обществом, марксист вполне признает историческую законность национальных движений, но чтобы это признание не превратилось в апологию национализма, надо чтобы оно ограничивалось строжайше только тем, что есть прогрессивного в этих движениях, — чтобы это признание не вело к затемнению пролетарского сознания буржуазной идеологией» [74].

О том, что у Бауэра все дело именно к этому и ведет, лучше всего доказывает его взгляд на конечное разрешение национального вопроса при социализме. Эта проблема вообще наиболее, пожалуй, ярко вскрывает ту огромную и коренную разницу взглядов на национальный вопрос в целом и на самоопределение наций в частности, которая лежит между марксистской, пролетарской и — социал-демократической, по существу — буржуазной, идеологией. Для Бауэра как и для социал-демократов вообще, социализм является высшей стадией развития нации, именно как нации, как обособленного организма. «Только социализм, — пишет Бауэр, — откроет массам доступ к национальной культуре. С развитием нации в единую общность труда, воспитания и культуры узкие местные провинциальные племенные союзы потеряют свое влияние, между тем как узы, охватывающие всех членов нации, будут крепнуть все больше и больше» [75]. С точки зрения марксизма и конечная цель и путь развития диаметрально противоположны. Для пролетариата социализм — это полное слияние всех наций в высшем интернациональном единстве, а путь к такому слиянию — постепенное сближение их трудящихся масс через осуществление полной национальной свободы. «Целью социализма, — пишет Ленин в цитированной уже статье «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», — является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций,

но и слияние их. И именно для того, чтобы достигнуть этой цели мы должны, с одной стороны, разъяснять массам реакционность идей Реннера и О. Бауэра о так называемой «культурно-национальной автономии», а с другой стороны, требовать освобождения угнетенных наций не в общих расплывчатых фразах, не в бессодержательных декламациях, не в форме «откладывания» вопроса до социализма, а в ясно и точно формулированной политической программе, специально учитывающей лицемерие и трусость социалистов в угнетающих нациях. Подобно тому как человечество может притти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может притти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения» [76]. В этих словах сформулирована вся сущность борьбы пролетариата за самоопределение наций.

Мировая война сделала борьбу за освобождение угнетенных народов боевым вопросом дня. И именно поэтому, именно потому, что национальный вопрос встал наиболее острым и практическим образом, сущность позиций пролетариата и социал-демократии сделалась еще более ясной и вместе с этим еще более увеличилась, еще более углубилась вся пропасть, существующая между этими позициями.

Социал-демократия окончательно перешла в лагерь буржуазии. В отношении национального вопроса это выразилось в том, что буржуазный национализм социал-демократии в обстановке войны превратился в воинствующий империалистический шовинизм. «Мировая война, — писал Каутский в начале войны, давая направление на все ее последующее время, — раскалывает социалистов на разные лагери и преимущественно на разные национальные лагери. Интернационал неспособен этому помешать. Это значит, что он не является орудием, действующим во время войны. По своей сущности он — инструмент мирного времени» [77]. Революционно-интернационалистская позиция в национальном вопросе заключалась тогда прежде всего в решительной борьбе против аннексий, т.-е. за самоопределение наций. Естественно поэтому, что отказ от интернациональной тактики неизбежно приводил социал-демократов всех мастей, с разницей лишь во времени, к защите аннексий и, следовательно, к полному отрицанию права на самоопределение. «Это так называемое «право»,— писал один из наиболее откровенных социал-империалистов, Кунов,— совершенно не согласуется с историческим ходом развития, который указывает, если не брать только ограниченную область юго-восточной Европы и только за последнее десятилетие, — не на процесс национальной дифференциации, а на могучий процесс амальгирования, на растущее слияние мелких национальностей с крупными культурными государствами» [78]. Таким образом, империалистическая политика аннексий была обоснована с точки зрения «исторического прогресса».

А австрийский коллега Кунова, социал-империалист Аустерлиц обосновал ее и с точки зрения классовой идеологии пролетариата», притом применительно еще к специальным интересам австро-венгерского империализма. Но он проделал это более тонко: признавая на словах право самоопределения, он отграничил его от суверенитета и, следовательно, выбросил из него главный реальный элемент — свободу отделения, сводя все право на самоопределение к национальной автономии. «Под самостоятельностью нации, — определяет он,— социал-демократ может понимать самоопределение ее и самоуправление в национальных делах. Суверенитет — это свойство буржуазного капиталистического мира... Разумеется, национальная самостоятельность наиболее гармонически осуществлена в национальном государстве, тогда как в государстве национальностей всегда остается некоторая тягостная недохватка. Но все-таки в пределах той суровой действительности, которая посредством капитализма сначала разделила, а потом по-своему соединила Европу, национальная автономия является единственной формой, в которой может быть осуществлено право национальностей на самостоятельность без кровавых войн и без аннексий сомнительного свойства» [79].

В этом вот положении и таилось то переходное звено, которое соединяло между собой два течения социал-империализма: правое, воинствующее, откровенно аннексионистское, и «левое», более лицемерное, прикрывающее свой империализм маской пацифизма. Социал-пацифисты заявляли, что они протестуют против аннексий, но в целях наискорейшего восстановления мира требуют признания status quo, т.-е. признают уже совершенные аннексии. Еще накануне войны один из французских социал-патриотов пацифистского толка, Марсель Самба в своей известной брошюре «Faites la roi, si non faites la paix!» писал: «Мы не признаем никакого права войны. Но верно то, что с течением времени насилие становится совершившимся фактом, и это не зависит от наших желаний и согласия. Мы ненавидим войну и стремимся к миру. Но стремление к миру имеет смысл только при том условии, если мы признаем... status quo, т.-е. совершившийся факт». Разумеется, что ни о какой борьбе с аннексиями и ни о каком действительном протесте против аннексий при сохранении status quo речи итти не может. Все это — обман, прикрывающий перед народными массами защиту империализма и аннексий стремлением к миру. «Легко убедиться, — замечает по этому поводу Ленин, — что протест против аннексий либо сводится к признанию самоопределения наций, либо базируется на пацифистской фразе, защищающей status quo и враждебной всякому, даже революционному насилию. Подобная фраза в корне фальшива и непримирима с марксизмом» [80].

В противоположность социал-демократии, революционный пролетариат считал безусловно обязательной для себя самую решительную борьбу против аннексий и поддержку всякого движения в аннексированных областях, направленного против империализма. Он не

допускал никаких промежуточных позиций, никаких колебаний в этом вопросе. «Не изменяя социализму, — писал Ленин в «Итогах дискуссии о самоопределении», — мы должны поддерживать всякое восстание против нашего главного врага, буржуазии крупных государств, если это не восстание реакционного класса. Отказываясь от поддержки восстания аннексированных областей, мы объективно становимся аннексионистами» [81]. Во время империалистической войны вопрос о самоопределении наций еще в большей мере стал неразрывным вопросом классовой борьбы пролетариата. Борьба за освобождение угнетенных народов представляла собою теперь один из участков общего фронта той революционной борьбы, которая в условиях созданного войною кризиса была непосредственно направлена к взрыву империалистического строя. Именно так ее и рассматривал тогда Ленин. «Нельзя серьезно относиться к серьезной войне, — писал он в той же статье, — не используя малейшей слабости противника, не ловя всякого шанса, тем более, что нельзя знать наперед, в какой именно момент и с какой именно силой «взорвет» здесь или там тот или иной склад пороха. Мы были бы очень плохими революционерами, если бы в великой освободительной войне пролетариата за социализм не сумели использовать всякого народного движения против отдельных бедствий империализма в интересах обострения и расширения кризиса» [82].

История показала, что только такая точка зрения соответствует духу подлинного революционного интернационализма в национальном вопросе, она показала, что оба направления социал-демократии, как отказ от борьбы за самоопределение наций, как якобы за буржуазное дело, так и фетиширование нации, превращение этой борьбы в самоцель, — в тот момент, когда жизнь поставила этот вопрос ребром, одинаково привели в лагерь буржуазии. Борясь с обоими этими течениями, революционный пролетариат всегда отстаивал право наций на самоопределение, но всегда подчинял этот вопрос задачам своей классовой борьбы с буржуазией. Когда революционный кризис в результате войны приблизился, пролетариат сделал борьбу за освобождение угнетенных наций непосредственным актом борьбы за социалистическую революцию. Ибо поддержка пролетариатом империалистической державы восстания в аннексированных ею областях являлась для него прологом к восстанию против собственной буржуазии. «Именно «в эру империализма», которая есть эра начинающейся социалистической революции, — писал тогда Ленин, — пролетариат поддержит с особой энергией сегодня восстание аннексированных областей, чтобы завтра же или одновременно напасть на ослабляемую таким восстанием буржуазию «великой державы» [83].

Особенно тяжелые задачи ложились на плечи революционного пролетариата в России. Россия издавна представляла собой, по выражению Энгельса, «огромное количество украденной собственности». Во время войны сепаратистские тенден чуженациональных окраин

значительно усилились, и отношения царизма с населением этих стран еще более обострились. Февральская революция не принесла облегчения угнетенным народам. Национальная политика Временного правительства отличалась от политики царского империализма только по форме и, пожалуй, еще по размерам великодержавных стремлений. Вот как характеризует эту политику Г. Сафаров: «Политика по отношению к ранее угнетенным царизмом народам вполне соответствовала общему духу соглашательской политики. С одной стороны, им обещали вернуть украденное у них царизмом, с другой стороны, изо всех сил оттягивали эту расплату и уменьшали размеры подлежащего возврату» [84]. На деле Временное правительство не только не соглашалось предоставить этим народам полное самоопределение, т. е. право на свободное отделение, но даже отказывалось выполнить те скромные требования о внутренней автономии, которые к нему предъявлялись. Наиболее остро обстоял этот вопрос в отношении Финляндии и Украины. Когда финляндский сейм 5 июля признал недействительными старые романовские права на Финляндию и объявил себя высшей законодательной властью во всех вопросах, за исключением военного и внешней политики, то в ответ на это Временное правительство через две недели разогнало сейм и заявило финнам, что «с отречением последнего императора вся полнота принадлежащей ему власти, в том числе права великого князя Финляндского, могла перейти только к облеченному народом российским высшей властью Временному правительству». Украине было отказано в еще более умеренных требованиях. Центральная рада в особой записке Временному правительству требовала лишь: 1) выявления благоприятного отношения Временного правительства к автономии Украины; 2) принципиального признания права Украины участвовать в будущей мирной конференции в виду вопроса о Галиции; 3) учреждения при Временном правительстве особой должности комиссара по украинским делам и 4) учреждения на Украине особого комиссариата с состоящей при нем областной радой; остальные пункты этой записки были второстепенного порядка. Однако Временное правительство отвергло даже и эти умеренные требования на том основании, что оно «не вправе решать вопросы, связанные с расчленением России». По существу и в том и в другом случае это было, как выразился Ленин, «истинное проявление политики великорусского «держиморды». Недаром на Московском государственном совещании все резко высказывались «против попыток разрешения национальных вопросов явочным порядком, путем обособления от России отдельных ее частей».

Российские социал-соглашательские партии, — меньшевики и эсеры — целиком поддерживали великодержавно-аннексионистскую политику русской буржуазии. Они даже затрудняли борьбу с этой политикой, так как прикрывали ее демократической фразой. Они склоняли на все лады слова: «полное самоопределение», но старательно обходили то, что в нем является самым главным — свободу отделения,



По вопросу о Финляндии Организационный комитет партии меньшевиков в конце апреля 1917 года вынес постановление, в котором он «полагает, что вопрос о взаимоотношениях между Финляндией и Российским государством в целом может и должен быть решен только соглашением между Финляндским сеймом и Учредительным собранием. А до тех пор товарищи финны должны помнить, что если бы в Финляндии усилились сепаратные тенденции, то это могло бы усилить централистические стремления русской буржуазии». Иными словами, финнам угрожали, что если они будут настаивать на своих требованиях, то им придется иметь дело со штыками русских войск, расположенных в Финляндии. Когда возник конфликт с Украиной по поводу отказа ей в вышеприведенных требованиях, редакционная статья меньшевистской «Рабочей газеты» писала, что вопрос об Украине должен быть решен «по соглашению» с Учредительным собранием, а что до Учредительного собрания нельзя решить «правильно» ни границ Украины, ни ее воли и т. д. Разумеется, ссылка на «соглашение» была сплошной лицемерной фразой, ибо, как писал Ленин в отношении совершенно аналогичного финляндского вопроса, «соглашаться могут только равные. Чтобы соглашение было на деле соглашением, а не словесным прикрытием подчинения, для этого необходимо действительное равноправие обеих сторон, т. е. чтобы и Россия имела право не согласиться, и Финляндия», а это может выражать только «свобода отделения» [85]. По сути дела платформа меньшевиков и эсеров представляла собою изложенную в других выражениях платформу Временного правительства. А на объединенном съезде партии меньшевиков в конце августа они высказались даже еще более решительно, чем Московское государственное совещание. «Внутренние тенденции развития России, как государства национальностей, — гласила резолюция этого съезда, — ведут не к распаду ее по национальным линиям на ряд независимых или лишь федеративно связанных между собой самостоятельных областей, а напротив, — к установлению все более тесных хозяйственных, политических и культурных связей между всеми частями населения страны, независимо от национального состава населения». А поэтому «в Учредительном собрании социал-демократы, в интересах освободительной борьбы пролетариата всех народностей России, будут отстаивать ее целость, неделимость и единство» [86]. Иными словами, меньшевики высказывались даже против федерации, а только за унитарное централизованное государство. Между империалистической буржуазией и социал-соглашателями стиралась всякая грань. Во имя интересов русской буржуазии, русские социал-соглашательские партии вели борьбу со своими политическими собратьями угнетенных стран: с социал-демократическим большинством Финляндского сейма и с эсеровско-меньшевистской Украинской радой. Борясь вместе со «своей» буржуазией против свободы отделения этих стран, наиболее основного условия подлинного самоопределения, они становились

на деле самыми отъявленными аннексионистами. «Вот наглядное практическое пояснение к вопросу об аннексиях, о коих ныне «все» говорят, боясь прямо и точно поставить вопрос, — разоблачал их Ленин, — кто против свободы отделения, тот за аннексии». «Мелкие буржуа дают себя запугать призраком запуганной буржуазии, — характеризовал он их, — в этом вся суть политики с.-д. меньшевиков и эсеров» [87].

Единственной партией, которая, действительно, боролась за свободу самоопределения угнетенных народов и за право их на отделение от России, была партия большевиков. На апрельской конференции 1917 г. ею была принята следующая резолюция: «За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства. Отрицание такого права и непринятие мер, гарантирующих его практическую осуществимость, равносильно поддержке политики захватов или аннексий. Лишь признание пролетариатом права наций на отделение обеспечивает полную солидарность рабочих разных наций и способствует действительно демократическому сближению наций». Только одни большевики выдвигали лозунг самоопределения наций последовательно и до конца, т. е. требовали полной свободы отделения. Но большевики отнюдь не поддерживали шовинистических сепаратистских настроений буржуазии угнетенных наций и отнюдь не стремились к тому, чтобы Россия превратилась в ряд мелких обособленных государств. Напротив — свобода отделения была единственной гарантией взаимного доверия между Россией и угнетенными народами и средством наиболее полного интернационального сближения рабочих и трудящихся всех наций на почве общей борьбы с буржуазией. «Мы — не сторонники мелких государств, — писал Ленин в статье «Украина». — Мы за теснейший союз рабочих всех стран против капиталистов и «своих» и всех вообще стран. Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, русский рабочий, не доверяя ни в чем и ни на минуту ни буржуазии русской, ни буржуазии украинской, стоит сейчас за право отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы, а завоевывая ее отношением как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за социализм» [88]. Этого союза можно достигнуть только при безусловном признании свободы отделения, ибо, как писал он в цитированной уже статье «Россия и Финляндия», «чем свободнее будет Россия, чем решительнее признает наша республика свободу отделения невеликорусских наций, тем сильнее потянутся к союзу с нами другие нации, тем меньше будет трений, тем реже будут случаи действительного отделения, тем короче то время, на которое некоторые из наций отделятся, тем теснее и прочнее — в конечном счете — братский союз пролетарско-крестьянской республики Российской с республиками какой угодно нации» [89]. И большевики настойчиво и упорно боролись с великодержавной политикой меньшевиков и эсеров, последовательно, по

каждому вопросу разоблачая кроющийся под их демократической фразеологией аннексионизм и завоевывая себе все более и более широкое сочувствие со стороны угнетенных народов.

Но самое важное состояло в том, что борьба за раскрепощение народов России была далеко не второстепенным руслом, по которому шло и назревало развитие пролетарской революции. Без опоры на поддержку угнетенных народов нельзя было превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Но эта поддержка была обеспечена сама собой, ибо лозунг мира был неразрывно связан с лозунгом самоопределения наций. И если буржуазия национальных окраин стремилась к сепаратизму на платформе империалистической войны и продолжения совместной с русской буржуазией верности союзникам, то пролетариат и трудящиеся массы этих стран добивались своего национального самоопределения, тесно связывая его с осуществлением мира, ибо в обстановке войны они все равно неизбежно подпадали под власть, если не той, то другой великой державы. И по мере того, как нарастало революционное возбуждение среди трудящихся масс угнетенных народов, крепла объективно связь между обоими лозунгами. Вот как описывает существовавшее тогда положение дел белоэмигрантский специалист по национальному вопросу в России, В. Станкевич: «Неумеренные требования неслись отовсюду, составляя одно из наиболее роковых проявлений всеобщего и всеместного максимализма. Малейшее разногласие или замедление вызывало ожесточенные нападки. И если солдаты требовали от власти, чтобы по телеграфу был заключен мир, то также «по телеграфу» в 24 часа требовали введения автономии на Украине и в Белоруссии, учреждения «штата Эсти», признания Латышской республики. Настойчивость требований росла параллельно с затруднениями власти, с расстройством транспорта, гибелью промышленности, недостатками продовольствия. На местах невольно думалось, что немедленная автономия, освобождение от ига централизма не путем перестройки, а путем разрушения старого аппарата власти может спасти дело» [90]. И когда пролетариат России в союзе с пролетариатом угнетенных наций совершил революцию, то плоды победы были закреплены в «Декларации прав народов России», провозгласившей равенство и суверенность народов России, право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства и отмену всех и всяких национальных привилегий и ограничений.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ (*продолжение*)

Октябрьская революция поставила всю борьбу за самоопределение наций совершенно по-новому. Она провозгласила ее международной задачей пролетарского государства и тем самым перенесла этот вопрос в плоскость междугосударственной классовой борьбы. Первый акт революционной власти, «декрет о мире» выдвинул требование полного и безусловного отказа от всяких аннексий. При этом самая аннексия определялась по своему фактическому содержанию и определялась таким образом, чтобы ее нельзя было прикрыть никаким формальным соглашением, никакой фальсификацией народной воли и вообще никакими дипломатическими ухищрениями. «Если какая бы то ни была нация, — гласил декрет, — удерживается в границах данного государства насилием, если ей вопреки выраженному с ее стороны желанию — все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или в возмущениях и восстаниях против национального гнета—не предоставляется права свободным голосованием при полном выводе войск присоединяющей или вообще более сильной нации решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является захватом и насилием». Такое определение было положено в основу всей дальнейшей борьбы советской власти против аннексий.

Эта борьба сразу и чрезвычайно остро встала в качестве непосредственной задачи советской внешней политики еще благодаря тем конкретным условиям, которые существовали в стране в момент революции. Части западных окраин России, ранее угнетаемых русским империализмом, в течение войны были аннексированы Германией, и граница аннексии рассекала на части живой организм народов. И хотя та часть населения, которая находилась на территории, оставшейся у России после Октябрьской революции, освобождалась от всякого национального гнета, само собой, однако, при таком положении вещей ни о каком самоопределении для этих народов не могло быть и речи. Не осуществить же их самоопределения на деле значило для советской власти — не выполнить собственной революционной программы.

Для немецкого империализма аннексированные страны представляли в плане мировой войны громадную военно-стратегическую и политическую важность. Путем их присоединения Германия рассчитывала продвинуть свои позиции настолько и провести свои восточные границы таким образом, чтобы она могла во всякое время непосредственно угрожать России как с суши, так и с моря. Недаром после занятия Риги в Германии начали открыто поговаривать о нападении на Петроград. Притом оккупированный район должен был быть использован в качестве военно-экономической базы для дальнейших операций. «Отделение окраинных государств от бывшей царской империи по мирному договору, — пишет в своих воспоминаниях ген. Гинденбург, — представляло для меня в первую очередь военную выгоду. Этим путем создавался, если можно так выразиться, далекий плацдарм (weites Vorfeld) против России по ту сторону наших границ. С политической точки зрения я приветствовал освобождение балтийских провинций, так как следовало согласиться, что с этих пор немецкая народность будет иметь возможность свободно там развиваться и заложить корни широкой немецкой колонизации тех территорий» [91]. Однако в политическом отношении центр тяжести лежал для Германии совсем не в национальном моменте, а в том, чтобы создать из оккупированного района барьер от проникновения большевизма, которого боялись гораздо больше, чем военной мощи России. Тот же Гинденбург замечает на следующей странице, что, несмотря на заключение мира, они «не могли предоставить занятые области собственной судьбе» именно потому, что «уже одно желание установить барьер между большевистскими властями и освобожденными нами землями настоятельно требовало оставления на востоке сильных немецких частей» [92]. Такие же голоса настойчиво раздавались и в печати.

Осуществление этого плана связано было не только с ни чем не ограниченным национальным гнетом, но требовало вообще беспощадного подавления всякой политической свободы населения в аннексированных странах. Немецкие империалисты опирались там исключительно на крайне малочисленный слой немецко-балтийского дворянства, которое прежде являлось опорой русской реакции, а теперь служило опорой для реакции немецкой. С помощью этих реакционных групп оккупационные власти создали на скорую руку «органы власти», различного рода сеймы и ландраты, которые провозгласили «восстановление» этих стран в качестве «независимых государств» и заключили с Германией договоры о «вечном союзе», а частью и о личной унии с Гогенцоллернами, и ряд военных, таможенных и т. п. конвенций. Но фактически вся власть находилась отнюдь не у этих ландратов, а в руках немецкой военной оккупации. Было учреждено особое «административное управление Востоком», которое состояло непосредственно при главнокомандующем восточным фронтом. Даже само германское правительство почти не смело вмешиваться в положение

оккупированных территорий, а всякие попытки подобного вмешательства решительно отклонялись верховным командованием. Дело доходило до совершенно курьезных инцидентов. Когда, например, в Берлин прибыла делегация литовского ландрата для того, чтобы добиться от германского правительства сейма на основе всеобщего избирательного права, то военные власти по-просту не допустили делегацию к имперскому канцлеру и принудительно отправили ее обратно в Литву. Делегация пыталась приехать вторично, но ей те же военные власти отказали в визе. На многочисленные запросы в рейхстаге, которые делались социал-демократическими депутатами, статс-секретарь фон-Кюльман мог только ответить, что «не следует обижать столь заслуженных генералов за то, что они проявили интерес к подобного рода вопросам».

Коренное население аннексированных областей относилось к «восстановлению своей независимости» и к «защите от опасности большевизма» настолько враждебно, что, например, в Эстонии, при вынесении ландтагом этого решения, эстонских волостных старост по свидетельству местного социал-демократа Мартна, приходилось буквально при помощи штыков заставлять участвовать в заседаниях ландтага [93]. Со всех сторон раздавались многочисленные протесты против нового порядка и новых «органов власти». Вот что, например, говорится в одной записке латышского пресс-бюро в Швейцарии: «18 сентября аналогичное решение (о «восстановлении» и «личной унии». *Д. Л.*) было принято в Курляндии, именно курляндским ландтагом. Уже тогда мы указывали на недостаточность этого выбранного только 0,5 проц. населения и состоящего только из немецко-балтийских рыцарских округов «народного представительства». Даже в самой Германии вынуждены были выдвинуть упрек, что «только немецкие бароны пользуются голосами в ландтаге». И как бы для усиления чисто юнкерского «самоопределения» 21 сентября был созван «расширенный ландтаг», в который в качестве «представителей народа» было привлечено 49 немцев и 28 латышей... Естественно, что ни о каких выборах, ни о каких народных представителях здесь не может быть и речи. Немецкие сообщения говорят таким образом о латышских статистах этой аннексионистской проделки, как о «латышских друзьях», не называя однако при этом знакомых имен и не ссылаясь ни на какие латышские организации». Подобного рода заявления можно было встретить на каждом шагу.

Режим немецкой военной диктатуры был настолько суров и настолько угнетал соответствующие народы, что даже среди самих немецких империалистов политики, более дальновидные, чем генеральская клика, сознавали, что дело зашло слишком далеко. Впоследствии некий ученый специалист по национальной политике в Европе Бэйм, несмотря на полную его защиту аннексионистской политики германского империализма, вынужден был тем не менее констатировать, что «поспешные германизаторские мероприятия, которые

здесь особенно диллетантски проводились военной властью, создали сильное подпочвенное сопротивление. Освобождение от большевистского террора было совсем скоро забыто» [94].

Советскому правительству пришлось с первого же дня повести борьбу против этой аннексионистской политики. Но борьба против аннексий практически означает не что иное, как борьбу за самоопределение наций [95]. Поэтому, исходя из принципов, провозглашенных «декретом о мире советское правительство потребовало от Германии предоставления угнетенным народам права на полное самоопределение и, в соответствии с этим выдвинуло в качестве основы для мирных переговоров следующие безусловные требования: «1) Не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время войны территорий. Войска, оккупирующие эти территории, выводятся оттуда в кратчайший срок. 2) Восстанавливается во всей полноте политическая самостоятельность тех народов, которые во время настоящей войны были этой самостоятельности лишены. 3) Национальным группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому государству или о своей государственной самостоятельности путем референдума. Этот референдум должен быть организован таким образом, чтобы была обеспечена полная свобода голосования для всего населения данной территории»... [96]. В этих требованиях содержалось не только одно принципиальное признание права на самоопределение, но и обеспечение полной возможности его фактического осуществления.

Разумеется, советское правительство отнюдь не питало твердой уверенности, что германский империализм согласится на эти требования и откажется в угоду демократическому принципу от тех военных и политических выгод, которые представляли для него аннексии. Германский империализм мог согласиться только на империалистический мир, но не на мир революционный и демократический. Однако в общей системе борьбы против империалистической войны и, следовательно, в общей системе революционного мира лозунг самоопределения наций должен был играть роль, аналогичную лозунгу немедленного всеобщего мира. Он должен был разоблачить и выявить до конца на деле аннексионизм германского, как и вообще всякого, империализма и поднять угнетенные народы на борьбу с ним. Лозунг самоопределения наций, выдвинутый советским правительством в качестве условия мира, должен был практически доказать угнетенным народам, что только революция способна будет освободить их от всякого национального гнета. На эту сторону революционного мира Ленин точно так же совершенно отчетливо указывал еще до революции и, в частности, в той же самой своей речи на 1 Съезде Советов, в которой он излагал общее значение революционного мира и задачи русской революции в деле борьбы с империалистической войной. Призывая русский пролетариат провозгласить мир без аннексий

на основе самоопределения наций и тем самым стать во главе всех угнетенных народов, он говорил: «Вы можете, опираясь на угнетенные классы европейских стран, на угнетенные народы стран, более слабых, которых Россия душила при царях..., опираясь на них, вы можете давать свободу, помогая их рабочим и крестьянским комитетам. Вы стали бы во главе всех угнетенных классов, всех угнетенных народов в войне против немецкого и английского империализма, которые соединиться против вас не могут; потому что они находятся в мертвой схватке друг с другом, они находятся в непоправимо трудном положении, когда внешняя политика русской революции, искренний союз на деле с угнетенными классами, угнетенными народами может иметь успех» [97]. Однако при всем этом все же необходимо отметить, что самоопределение окраинных народов представляло само по себе прямое продолжение внутренних задач национальной политики Октябрьской революции, и поэтому и в сепаратных переговорах, на ряду с революционизированием этих народов и германского пролетариата, являлась и самостоятельной целью, которой советское правительство добивалось даже в рамках сепаратного мира с германским империализмом.

Германские империалисты отлично понимали, какое революционизирующее значение имеет провозглашенный Советской республикой принцип самоопределения наций, и поэтому они с самого начала попытались обезвредить его для себя. Они попытались обезвредить его тем, что внешне, на словах, вполне согласились с этим принципом. Выступая в рейхстаге по поводу советских мирных предложений, имперский канцлер граф Гертлинг заявил, что эти предложения могут быть положены в основу переговоров и что он готов немедленно приступить к таковым. Однако германское правительство отнюдь не хотело целиком связывать себе руки безусловным признанием принципа самоопределения наций, как такового, и поэтому признание его было облечено в такую форму, что дескать принцип самоопределения наций вполне соответствовал интересам Германии на Востоке. На другой день после выступления Гертлинга министр иностранных дел фон-Кюльман соответствующим образом дополнил своего шефа: «К тем ясным словам, которыми г. рейхсканцлер изложил вчера точку зрения германского правительства на эти предложения (советские мирные предложения. *Д. Л.*), я не имею ничего прибавить. Также и в этом вопросе мы не должны отдаляться от прочного критерия государственной будущности, стоящего на почве фактов. Принципы, сообщенные миру нынешними властями в Петербурге, являются пригодными для нового положения вещей на Востоке, которое вполне отвечает праву самоопределения и находится в истинном соответствии с существенными и длительными интересами обеих соседних великих держав, России и Германии» [98].

Это звучало уже несколько по-иному. А в менее официальных выступлениях суть дела была еще более ясной, там совсем опреде-

ленно подчеркивалось, что ударение ставится именно на германских интересах, а отнюдь не на принципе самоопределения наций. Близкая к правительству «Deutsche Tageszeitung» комментировала речь Гертлинга значительно более ясным языком: «Если рейхсканцлер рассматривает русские предложения, как могущие быть положенными в основу обсуждения, и изъявил готовность вступить в переговоры с представителями русского правительства, то тем самым мы можем быть уверенными в той само собой понятной предпосылке, что данные немецкие интересы на Востоке вполне сохранены. Эта предпосылка относится также и к согласию канцлера с принципом права на самоопределение в отношении Польши, Курляндии и Литвы и, как мы хотели бы присовокупить, также и в отношении Лифляндии и Эстляндии. Мы надеемся, что наша политика приведет к созвучию (Einklang) этого принципа с немецкими интересами; ее высшей и безусловной целью, во всяком случае, является добиться тех военных, политических и экономических гарантий на Востоке, в которых мы нуждаемся»[99]. Из всего этого, однако, вытекал только один вывод, который па этих же, примерно, днях точно и лаконично сформулировал в рейхстаге граф фон-Посадовский-Вайнер: «Во всяком случае, мы должны требовать, чтобы с самоопределением наций или без него наши границы географически проходили таким образом, чтобы наши потомки были защищены против быстро растущей национальной мощи (Volksmacht) Востока лучше, чем мы». Иными словами, вытекал тот же самый вывод, который высказывал и генерал Гинденбург, говоря о так называемом «далеком плацдарме».

Аннексионистскую политику правительства поддерживала вся немецкая буржуазия. Правда, в ее среде не было полного единогласия по этому вопросу, напротив, — и в рейхстаге и в печати происходили довольно ожесточенные споры. Однако эти споры отнюдь не затрагивали коренного вопроса: производить аннексии или не производить, а велись скорее по вопросу о том, в каких размерах и в какой форме произвести эти аннексии. Ни одна группа немецкой буржуазии не стояла на точке зрения принципа самопределения наций, каждая из них защищала присоединение аннексированных стран, но формы защиты и конкретные аннексионистские программы были разные. Наиболее правое, откровенно-аннексионистское крыло, состоявшее преимущественно из юнкерско-помещичьих групп и представителей тяжелой индустрии, особенно военной, целиком поддерживало программу верховного командования. Представители этого крыла называли вещи своими именами и прямо ставили точки над i. «Вообще нельзя усмотреть, — писала консервативная «Deutsche Zeitung», — почему нам следовало бы вернуть какой бы то ни было кусок завоеванного. Если русские имеют доверие к нашей силе, то они заключат с нами мир на всяких условиях... Мир может быть достигнут единственно и только ледяным холодом выжидания и твердым и целеустремленным языком»[100]. Еще резче высказал эту же самую мысль

ген. Либер на заседании парламентской фракции конституционной партии. «Для нас должно быть правилом: сила предшествует праву. Это должно быть единственным и неизменным принципом... Здесь не должно быть места никакой сантиментальности, никакой гуманности, а только — беспощадности... Мы хотим, чтобы Курляндия вступила с нами в личную унию»... и т. д. Таково было господствующее настроение этой группы. Другое, более умеренное, течение, сторонники так называемой «восточной ориентации», куда входили главным образом представители интересов легкой индустрии и подавляющее большинство средней буржуазии, добивалось сравнительно более почетного соглашения с Россией. В отличие от первой группы они предлагали ограничиться более скромными размерами аннексий, по большей части только присоединением Польши, Курляндии и Литвы, и проводить их в более мягкой форме. Но даже один из представителей первого направления профессор Гетцш писал еще во время первого периода брестских переговоров в газете «Kreuz-Zeitung», что та манера, с которой Германия практически применяет в Бресте право наций на самоопределение, отнимает у Российского государства больше, нежели Германии нужно, и производит более аннексионистское впечатление, нежели это требуется на Востоке из военно-стратегических соображений. Обе группы, следовательно, отличались друг от друга только различными аннексионистскими аппетитами и, пожалуй, еще тем, что по-разному изображали принципиально одну и ту же аннексионистскую программу. А представитель умеренного направления профессор Виламовиц-Меллендорф на страницах газеты «Berliner Lokalanzeiger» выражался следующим образом: «Мы не имеем никакой склонности включать в нашу империю части чужих народностей, однако эта империя должна быть на Востоке неприкосновенной (unantastbar). Мы охотно принимаем обязательство, что латыши и литовцы должны оберегать свою национальность (Volkstum pflegen) и непосредственно развиваться так же, как, с другой стороны должна быть оберегаема немецкая национальность немцев (Deitschtum der Deutschen) в России. Однако Курляндия и Литва должны в каких бы формах это ни было перейти в сферу власти Германии» [101]. Орган же еще более умеренной австрийской буржуазии, «Wiener Tageblatt» обосновывал эту же самую позицию но не из военно-стратегических, а уже из политических соображений. «Если, с одной стороны, мы решили не производить никаких аннексий, то, с другой стороны, мы не можем оставаться равнодушными к состоянию в тех странах, которые будут теперь находиться у наших границ. Мы не питаем намерения включить в наше государство территории, занятые нашими отрядами на Востоке, но мы не можем терпеть, чтобы в этих странах возникло состояние, которое могло бы быть для нас опасным. Мы не хотим аннексий, но мы также не хотим, чтобы русская революция в областях, которые с нами граничат, привела бы к огромной моральной аннексии. При новом положении вещей, которое возникло после

падения царизма, высшая обязанность наших государственных людей — заботиться о том, чтобы угроза с Востока исчезла. Ни аннексий от России, ни революции через Россию» [102]. Итак; с какими бы масштабами и с каких бы точек зрения ни подходили, сущность политики оставалась одинаковой.

Правда, эта политика подвергалась чрезвычайно резкой критике со стороны левобуржуазных группировок. Например, газета «Leipziger Volkszeitung» так характеризовала ее после заключения Брестского мира: «Эта политика ведется по старому правилу: разделяй и властвуй. Немецкие аннексионисты желают пользоваться противоположными интересами восточных народностей, чтобы превратить их в своих вассалов и поставить под свое господство. Таковы плоды навязанного России мира. Этот мир поведет только к новым грозным конфликтам» [103]. В рейхстаге происходили даже резкие нападки на военное командование и оспаривалось право последнего участвовать в мирных переговорах. Однако, не говоря уже о том, что левобуржуазные партии не оказывали никакого существенного влияния на политику, они боролись с аннексиями таким образом, что скорее создавали видимость протеста, чем протестовали в действительности.

Но отвратительнее всего было поведение социал-демократии. Социал-демократия в этом вопросе «отливалась, по выражению Фрелиха, всеми цветами радуги». Среди нее, как и среди всей немецкой буржуазии, были и сторонники «восточной ориентации», Шиппель, Квессель, Коген, Карнольд и др., которые доказывали на страницах «Socialistische Monatshefte», что нужно соблюдать меру на Востоке, ибо для победы над Англией с Россией нужно заключить мир, основанный на соглашении; было и откровенно аннексионистское крыло, во главе с Ленчем, Куновым, Хэнишем, Винигом и др., которое прямо стояло за аннексии на Востоке. Например, вождь профсоюзов Янсон писал в «Die Glocke» от 24 ноября 1917 г., что «так как на войне все разрешается не дипломатами, не журналистами, а солдатами, то, во всяком случае, правильнее ставить на гинденбурговскую карту» и т. д. Но независимо от всех этих направлений резко выпирала исключительно гнусная двуличность в позиции социал-демократии. С одной стороны, она защищала аннексионистскую политику германского империализма, облегчала ему прикрывать ее, провозглашая «мир без аннексий» и, во всяком случае, помогала ему проводить эту политику на практике. Так, например, Шейдеман самолично ездил в Ригу для того, чтобы убедить латышей в благодетельности для них германского протектората (увы, ему оказали там весьма неласковый прием), а официальный представитель «Vorwärts» Е. Гольман, посетив летом 1918 г. аннексированные страны, с восторгом сообщал потом в Германии о «демократизме немецких оккупационных властей» и о «государственной мудрости балтийского дворянства». И при всем этом они, с другой стороны, упрекали русских большевиков в том,

что они отдали германским империалистам эти страны и что они действуют заодно с ними. Фридрих Штампфер в своей знаменитой статье «Большевизм», напечатанной в том же «Vorwärts'e», писал: «Жутко становится, с каким легким сердцем они уступили российскую территорию, как они легким мановением руки отмахивались от одной провинции за другой, как они с непоколебимым равнодушием повторяли выражение — «вплоть до отделения от России». Никогда бы немецкие социал-демократы не действовали подобным образом в аналогичном положении (последнее совершенно верно. *Д. Л.*). Эти, мнящие себя очень современными, социалисты не проявили ни малейшего понимания необходимости объединения больших экономических районов. Те германские социал-демократы, которые в балканизации Востока видели опасность для всех заинтересованных народов, в том числе и для ближе всего стоящего к ним немецкого народа, доведены были поведением большевиков прямо-таки до отчаяния» [104]. Оставляя в стороне всю чудовищную подлость, заключающуюся в этих утверждениях, любопытно отметить, что самая аргументация построена в великодержавно-империалистическом духе. Это был упрек, который подобало бы сделать немецким социал-империалистам социал-империалистам русским, а, будучи направлен против советского правительства, он бил мимо цели.

Левобуржуазная и социал-демократическая партии не только не вели фактической борьбы против аннексий, но даже облегчали германскому правительству вести его двойную игру. Они утверждали, что вся ответственность за политику аннексий ложится на верховное командование, которое действует наперекор правительству, и что последнее стоит за мир без аннексий и желает добровольного соглашения с Россией. В действительности же разногласия между правительством и верховным командованием были совершенно аналогичны тем, которые существовали между крайним и умеренным течением немецкой буржуазии. Верховное командование предпочитало действовать более энергично и решительно и настаивало на прямом присоединении к Германии всех тех областей, которые оккупированы немецкими войсками. Правительство же и дипломатия советовали ограничиться только династической унией с Литвой и Курляндией и провести это более мягко, в форме соглашения. Высшим арбитром в этих спорах являлся кайзер, который хотя на словах больше склонялся к точке зрения правительства, но на деле ни в чем не прекословил своим генералам. Воля верховного командования была законом. Вот как описывает в своих мемуарах ген. Людендорф одно из наиболее важных совещаний по восточному вопросу, состоявшееся накануне брестских переговоров: «Восточный вопрос еще раз обсуждался 18 декабря на совещании в Крейцнахе под председательством его величества, собранном для установления условий мира, которые должны были быть поставлены России. Император заявил, причем имперский канцлер и статс-секретарь министерства иностранных

дел не представили возражений, что он согласен с проектом присоединения оборонительной полосы вдоль прусско-польской границы в тех размерах, которые мы признавали удовлетворительными. Имперский канцлер согласился с мыслью о династической унии Литвы и Курляндии с Пруссией или Германией при условии одобрения этого решения монархами германского союза. Его величество присоединился к этому решению и еще раз подчеркнул необходимость в пределах этих новых государств предоставлять многочисленным народам развиваться самостоятельно. Это означало, что в национальной политике в Курляндии и в Литве мы будем придерживаться прежнего направления, если в будущем на восточной границе не явятся новые опасности для Германской империи. Относительно Эстляндии и Лифляндии его величество решил предложить России очистить эти области, но не настаивать на этом требовании, чтобы предоставить эстонцам и латышам использовать право самоопределения наций» [105]. Фактически же верховное командование с неизменного одобрения кайзера проводило свою собственную линию и очень мало считалось с ограничениями, установленными на совещании в Крейцнахе, не принимая его особенно всерьез. «Одни только общие разговоры, — отзывается о нем ген. Гофман, — не могли ведь дать нам руководящих начал для ведения таких серьезных мирных переговоров».

Но как видно из вышеприведенного, между правительством и верховным командованием не только не существовало серьезных разногласий по существу, но даже и в отношении формы они шли навстречу друг другу, употребляя понятие самоопределения наций, так как все они отлично понимали, что им волей-неволей придется внешне согласиться с этим, как назвал его Чернин, «жидовским большевитским требованием». Тот взгляд, которого придерживались на право саомопределения наций и те и другие, и вообще вся немецкая буржуазия, лучше всех высказал в кулуарах рейхстага консерватор Ольденбург-Яуншау: «Право на самоопределение, господа? Я знаю, что это означает, я недавно путешествовал по всей Польше. Vox populi— vox rindvien (голос народа — голос скотины)» [106]. Однако как политические деятели, так и генералы во всех своих выступлениях неизменно ссылались на право самоопределения наций и изображали политику Германии, как осуществление этого права. Кюльман в одной из своих речей в комиссии по иностранным делам рейхстага даже доказывал, что принцип самоопределения наций вообще исторически присущ германской внешней политике и присущ гораздо больше именно ей, нежели политике советского правительства. «Это право на самоопределение, — заявил он, — отнюдь не является современным изобретением, как утверждают журналисты. Не кто иной, как князь Бисмарк, после короткого, но блестящего похода, произведенного им в 1866 г., обусловил в параграфах договора с жестоко пораженным противником право на самоопределение. Это относится к тем частям страны, которые лежат у северной границы нынешней Германии,

Впрочем, именно в девятнадцатом столетии мы встречаем не один, а целый ряд примеров, в которых проведена идея о том, что окраинные государства и окраинные народности должны сами решать свою судьбу. То, что как сказано, наш великий государственный муж в 1866 г. сам прибегнул к этому средству, показывает, что эта идея отнюдь не является для нас столь новой и неожиданной, какой с некоторых сторон выставляется» [107]. Положение о том, что только германский империализм проводил в отношении окраинных народов право на самоопределение, «научно» обосновывал потом целый ряд немецких ученых и, в частности, цитированный уже Бэйм. «Брест-Литовский мир, — писал последний, — благодаря пропаганде, проводившейся Антантой, является еще и поныне исключительно заклейменным. Часть немецкой прессы способствовала тому, чтобы это клеймо поддерживать... Но факт остается фактом, что сила немецкого оружия и недостаточно увенчавшая ее дипломатия (ihre unzulänglische diplomatische Krönung) фактически дали восточно-европейским промежуточным территориям (Zwischengebiet) свободу и самоопределение, которые потом повсюду обернулись против немецких народностей и права. Проводилось ли это в немецких национальных интересах,— является еще и поныне спорным вопросом. С тех пор, как Франция с англо-американской помощью стала осуществлять там свою гегемонию, общие интересы Европы расцениваются очень низко (stehen niedrig im Kurs)» [108]. Так, Бэйм оспаривает у антантовского империализма в пользу германского знамя самоопределения наций.

Но для вящего обмана народных масс немецкие аннексионисты заходили еще гораздо дальше подобных утверждений. Говорили, что Германская империя защищает право на самоопределение окраинных народов именно против большевиков, которые только хотят расширить свое господство, увеличить свою территорию и лицемерно прикрывают это лозунгом самоопределения наций. «Большевикам,— писал не кто другой, как ген. Людендорф, — также не было никакого дела до права самоопределения, и они лишь стремились к дальнейшему расширению своего господства. Они являлись представителями политики насилия и рассчитывали, что очищенная нами страна непосредственно перейдет к ним. Но одновременно в них чувствовался и национализм, так как они считали отделение Курляндии, Литвы и Польши, несмотря на все права на самоопределение, враждебным мероприятием против России» [109]. Иными словами, то горячее участие, которое принимало советское правительство в судьбе угнетенных народов, пытались представить как проявление великодержавных тенденций великорусского национализма, стремясь к тому, чтобы самое право на самоопределение исчезло с поля зрения, на котором отображалась борьба Октябрьской революции с немецким империализмом. Тот же самый Бэйм проводит эту мысль еще более резко: «Право на самоопределение превращалось в тактическую фразу, которая особенно должна была употребляться в игре (ausges-

pielt werden soll) против германской политики в отношении окраинных государств. По существу, однако, большевистские представители действовали как убежденные великорусские централисты за дипломатическим столом в Брест-Литовске, где официально они выступали как глашатаи (Verkünder) принципа самоопределения» [110].

Когда-то в эпоху Великой французской революции реакционные современники и последующие буржуазные исследователи изображали ее революционно-освободительные войны как войны за расширение своей территории и своего национального господства в духе старого порядка. Сорель так характеризует международную доктрину якобинцев: «Это была доктрина «права короля», который имеет притязание на всех, которому никто не указ и владения которого, не подлежащие отчуждению, по существу своему неделимы. Переменилось только несколько слов: народное верховное главенство, вместо королевского, и природа, вместо архивов» [111]. Теперь, во время Октябрьской революции, немецкие империалисты и их ученые прислужники пытались представить национально-освободительную политику советской власти как политику, ничем не отличающуюся от великодержавной политики царизма. «Автократия, ортодоксия и национализм,— пишет, подводя итоги брестской политике, Бэйм,— прочно жили в большевизме. По большей части еврейское руководство неожиданным образом национализировалось и прониклось исконно-русским (буквально — urussischen) тенденциями. Ни одно великодержавное притязание старой России не было в действительности окончательно оставлено. И вопрос еще остается открытым, к какому конечному результату приведет распад Великой России вследствие мировой войны и мировой революции» [112].

Но в период Бреста все подобного рода утверждения имели только одно функционально-политическое значение. Они должны были утаить перед глазами широких масс германского рабочего класса и угнетенных народов аннексированных стран истинную сущность проводимой германским империализмом политики насилия и должны были отвлечь эти массы от поддержки той борьбы, которую вела против него Октябрьская революция за их освобождение. Принцип самоопределения наций как массовый лозунг был непобедим. И немецкие империалисты решили воспользоваться против русских большевиков их же оружием, которого, однако, у них не было и призрачной лишь видимостью которого они пытались прикрыть оружие совершенно другого рода.

Дипломатия австро-германской коалиции с самого начала брест-литовских мирных переговоров твердо усвоила именно эту линию поведения: закрепить в мирном договоре с Россией аннексии оккупированных территорий балтийских народов в формах осуществления права этих народов на самоопределение. При этом надеялись, что советское правительство под давлением внутреннего положения страны подпишет мир на любых условиях, и для того, чтобы более

гладко и осторожно продиктовать ему аннексионистские условия мира и, с другой стороны, облегчить советской делегации, идя вразрез с провозглашенными ею принципами, данные условия принять, они заговорили языком этих самых принципов. Декларация, которую империалисты огласили в заседании от 25 декабря в ответ на советские мирные предложения звучала совсем почти в унисон с декретом о мире: «Делегации Четверного союза согласны немедленно заключить общий мир без насильственных присоединений и без контрибуций. Они присоединяются к русской делегации, осуждающей продолжение войны ради чисто завоевательных целей. Государственные деятели союзных правительств в программных заявлениях неоднократно подчеркивали, что ради завоеваний Четверной союз не продлит войны ни на один день. Этой точки зрения правительства союзников все время придерживались неуклонно; они торжественно заявляют о своем решении немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без исключения воюющих держав, условиях»[113]. А ответные формулировки на соответствующие пункты советской мирной декларации были старательно выдержаны в стиле признания принципа самоопределения наций: «К п. I. В планы и намерения союзных держав не входит насильственное присоединение захваченных во время войны территорий. Условия о выводе войск, ныне занимающих оккупированные территории, должны быть определены в мирном договоре, если ранее не будет достигнуто соглашение об отозвании их из тех или других мест». «К п. II. В намерения союзников не входит лишение политической самостоятельности тех народов, которые утратили эту самостоятельность во время настоящей войны»[114]. Но все же, по пункту III в котором говорилось о предоставлении отдельным национальным группам возможности свободно решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому государству или о своей самостоятельности путем референдума, немцы дали понять, что они не допустят никакого вмешательства России в судьбу аннексированных ими территорий: «Вопрос о принадлежности к тому или другому государству национальных групп, не имеющих политической самостоятельности, по мнению держав Четверного союза, не может быть решен международно. Он в каждом отдельном случае должен быть решен самим государством вместе с его народом путем, предусмотренным данной конституцией»[115]. Но это еще не являлось прорывом общего тона немецкой декларации, это было только более расплывчатой и двусмысленной формулировкой; общий же тон оставался таким же. И когда Иоффе указал, что «признание принципа «мир без аннексий» в ответной декларации держав Четверного союза находит себе существенное ограничение в пункте III», то Кюльман в дальнейшем постарался ловко обойти эту «шероховатость», сведя все к технической стороне дела.

Однако империалисты не хотели даже в формальном отношении окончательно связывать себя этими принципами и заранее очистили

себе поле для отступления, обусловив их осуществление присоединением к мирным переговорам всех воюющих держав, на что австро-германская коалиция, конечно, заведомо не рассчитывала. Это была лазейка, которая давала и формальную возможность сойти с точки зрения этих принципов в тот момент, когда им потребуется. Но в общем контексте это выходило так, что всеобщность мира является для них самой исходной предпосылкой для всего и что сделанная оговорка отнюдь не колеблет для них силы этих принципов как таковых. «Договаривающиеся теперь с Россией державы Четверного союза не могут, конечно, ручаться за исполнение этих условий, не имея гарантии в том, что союзники России со своей стороны признают и исполнят эти условия честно и без оговорок, также и по отношению к Четверному союзу» [116]. Иными словами, это словно даже не оговорка, а вполне законное требование взаимности.

Но уже через два дня, в заседании от 27 декабря, когда от общих деклараций перешли к выработке основ проекта мирного договора, подлинные аннексионистские намерения империалистов вполне явно выступили наружу. В противоположность 1-й и 2-й статьям советского проекта, в которых говорилось о том, что обе воюющие стороны выводят свои войска из оккупированных областей и что населению этих областей в соответствии с принципом права наций на самоопределение будет дана возможность в ближайший и строго определенный срок свободно решить вопрос о своем присоединении к той или иной стране или об образовании самостоятельного государства, при непременном условии полного отсутствия в этих областях каких-либо чужих войск, — немецкий контр-проект откладывал вывод войск на довольно неопределенное время, до окончательного заключения всеобщего мира и полной демобилизации русской армии, и при этом совершенно не распространял это обязательство на основные оккупированные Германией страны. В отношении этих стран проект гласил: «Так как российское правительство, в соответствии со своими принципами, провозгласило для всех без исключения народов, входящих в состав Российского государства, право на самоопределение вплоть до полного отделения, то оно принимает к сведению заявления, в которых выражена воля народов, населяющих Польшу, Литву, Курляндию и части Лифляндии и Эстляндии, об их стремлении к полной государственной самостоятельности и к выделению из Российской федерации». «Российское правительство признает, что эти заявления при настоящих условиях надлежит рассматривать как выражение народной воли, и готово сделать вытекающие отсюда выводы» [117]. Этим с полной определенностью указывалось, что Германия ничуть не собирается очищать аннексированные ею территории, что, напротив, она требует от советского правительства признания тех формальных актов, которыми были закреплены аннексии. И если при этом империалистические дипломаты аргументировали правом на самоопределение наций и ссылались на свою предшествующую декларацию, то этим

они только давали понять советской делегации, что, идя ей навстречу, они придерживаются того modus vivendi, который должен облегчить и для них и для нее дипломатическую работу, но что этот modus vivendi отнюдь не должен служить тому, чтобы препятствовать им осуществить их действительные планы.

Советская делегация была неожиданно поражена таким оборотом дела. Еще два дня назад Иоффе в своей ответной речи на немецкую декларацию говорил, что «российская делегация с удовлетворением констатирует, что провозглашенные Российской революцией принципы всеобщего демократического мира без аннексий восприняты народами Четверного союза и что Германии и ее союзникам чужды планы каких-либо территориальных захватов и завоеваний, равно как и стремление уничтожить или ограничить политическую самостоятельность какого-либо народа». Теперь ни о чем подобном не могло итти и речи. Правда, советская делегация отнюдь не отличалась такой наивностью, чтобы предполагать, что империалисты искренно соглашаются с провозглашенными ею принципами и сразу же изъявят готовность освободить аннексированные страны; напротив, она ни в коем случае не рассчитывала на это, и слова Иоффе имели лишь тот смысл, что он хотел в дипломатической форме подчеркнуть, что Германия и ее союзники определенным образом связываются своей декларацией. Но такая резкая перемена даже и для советской делегации явилась неожиданностью, как это можно заключить из воспоминаний ее участников. «Но если мы, вообще говоря, — пишет Троцкий, — не делали себе иллюзий насчет демократизма гг. Кюльмана и Чернина, — для этого мы достаточно хорошо знали природу германских и австро-венгерских правящих классов, — то нужно все же признать, что мы не допускали той пропасти, которая, как выяснилось через несколько дней, отделяла действительные предложения германского империализма от тех формул, которые были предъявлены 25 декабря г. фон-Кюльманом в качестве плагиата у русской революции. Такого бесстыдства мы не ожидали» [118]. Однако переговоры после этого все же продолжались, выяснение спорных территориальных вопросов было отложено до получения ответа от держав согласия, для чего объявлялся перерыв. А уже совсем накануне отъезда советской делегации (согласно установленноиу перерыву) впечатление еще резче усугубилось. Когда за обедом кто-то из наших военных консультантов спросил у ген. Гофмана, какое пространство территории и в течение какого срока немцы предлагают очистить в качестве первой зоны, то Гофман ответил: «ни одного миллиметра». «Русские неверно поняли наших дипломатов, — «наивно» разъяснял он потом в своих мемуарах. — Они держались того мнения, что мир без аннексий отдаст им польские, литовские и курляндские губернии». Но от такого «неверного понимания» советские делегаты пришли в большое смущение. «Тут мы поняли — вспоминает этот инцидент Покровский, — что попали в самую дурацкую ловушку» [119].

Но объективно во всем этом не было ничего удивительного. Немецкие и австро-венгерские империалисты ни на одну минуту не предполагали отказаться от своих аннексионистских намерений. Но они надеялись, что советская делегация поймет и оценит оказанную ей «любезность» и не станет мешать им обманывать их народы так же, как и они в свою очередь не будут мешать и даже помогут советской делегации обмануть народы России. «Предполагали, — объясняет их намерения Фрелих, — проделать, используя советское правительство, небольшое жульничество. Разве не было оно принуждено заключить мир? Разве могло оно всерьез надеяться провести на самом деле свою программу при данном положении войны? Разве не стояло оно перед величайшей опасностью, если оно принуждено будет вернуться из Бреста без мира или с откровенно плохим миром, с откровенно аннексионистским миром? «Политическая мудрость» подсказывала, казалось, советскому правительству согласиться, что дважды два — пять и дать свою подпись под миром, который будет объявлен всеми заинтересованными сторонами миром без аннексий, хотя на самом деле он вовсе не будет таковым. Повод к подобного рода маневру имелся — под ферулой военной диктатуры в Прибалтийском крае образовались так называемые провинциальные представительства, сословные сеймики, бывшие всецело в руках немецких баронов. И эти-то представительства приняли постановления о присоединении их к Германии. Эти постановления должны были быть признаны как осуществление права самоопределения национальностей. Таким образом, Кюльман и Чернин приступили к мирным переговорам bona fide; правда, это была «добрая вера» — вера по отношению к сообщнику» [120]. Поэтому Кюльман и Чернин именно так и строили свои расчеты, что после того как общие декларации обеих делегаций, австро-германской и советской, будут восприняты общественным мнением народов, они несколько откровеннее, но ничуть не меняя стиля, перейдут к переговорам «о деле», т. е. о договорном закреплении произведенных ими аннексий. Это не было даже тонким дипломатическим маневром; наоборот, фальсификация выглядела, пожалуй, довольно грубо, и, во всяком случае, империалистические дипломаты не стесняясь, а совершенно открыто говорили о ней между собой. Вот что, например, пишет Гофман в своих мемуарах:«Когда дело дошло до подписания ответа русским (ответа на первую мирную декларацию. *Д. Л.*), болгары представили серьезные возражения. Министр Попов объявил, что при заключении союза им, болгарам, обещаны были некоторые части сербских областей и Добруджа и что они вовсе не намерены подвергать опасности подобным подписанием выполнение этих обещаний. Они и в войну-то вступили из-за аннексий и не намерены от них отказываться» [121]. Напрасно Кюльман и Чернин расточали перед Поповым свое красноречие, сотни раз доказывая ему, что данные им обещания не подвергаются никакой опасности; что все дело только в том, чтобы произвести хорошее впечатление при начале переговоров;

что невозможно допустить, чтобы Англия и Франция вступили в мирные переговоры и что раз это так, то все декларации, которые теперь делают центральные державы, отпадают в случае, если Антанта еще не подготовлена для мирных переговоров»[122]. Для империалистической дипломатии это было настолько ординарным трюком, что даже не считали нужным в пределах Брест-Литовска его особенно тщательно скрывать. Однако советская делегация, тогда еще не искушенная в милых фокусах дипломатии, была неподготовлена к такому стремительному salto из царства самоопределения в царство аннексий. Она отнюдь не надеялась, что империалисты на деле восприняли принцип самоопределения наций, но она думала, что их декларация хоть до какой-нибудь степени формально свяжет их. И когда наши делегаты увидели, что австро-германские дипломаты только любезно предлагают им, как «коллегам по профессии», надувать друг друга и народные массы, они были резко и всерьез возмущены. Перерыв переговоров получился сам собой.

Во второй период переговоров империалисты сразу же взяли более резкий и агрессивный тон. Прежде всего они решили совершенно развязать себе руки в отношении тех принципов, которыми они условно обязались в своей мирной декларации. Еще во время перерыва между обеими делегациями произошел обмен телеграммами, в котором делегации Четверного союза «констатировали», что непременное условие обязательности эти принципов — присоединение к переговорам всех воюющих держав, по прошествии установленного десятидневного срока — не наступило. А уже на первом заседании после перерыва Кюльман прямо заявил, что «неисполнение этого условия повлекло за собой последствие, вытекающее как из содержания заявления (т. е. мирной декларации. *Д. Л.*), так и из истечения срока: документ стал недействительным». Он сразу же сделал внушительный намек, что время общих деклараций прошло, что переговоры переходят теперь в совершенно иную плоскость, в плоскость исключительно сепаратных переговоров между Россией и Германией, которые должны установить территориальные разграничения между этими государствами и установить именно таким образом, как это соответствует создавшемуся уже по ходу войны фактическому положению. При этом и конкретные территориальные требования были несколько увеличены.

В литературе о Брестском мире обычно принято говорить о «дистанциях огромного размера», якобы отделяющих друг от друга первый и второй периоды мирных переговоров. Это не соответствует действительности. Нельзя отрицать, что за время перерыва под влиянием ряда обстоятельств позиция империалистических делегаций в Бресте изменилась. Во-первых, несвязанность их впредь своей мирной декларацией предоставила им большую ф о р м а л ь н у ю свободу поведения. Кроме того, изменилось соотношение внутренних сил в самом лагере империалистов. 2 января, накануне отъезда немецкой

делегации в Брест, в замке Бельвю под председательством кайзера между министерством иностранных дел и верховным командованием состоялось совещание, в центре которого стоял польский вопрос. И хотя по этому вопросу дипломатия настояла на своем, а в связи с этим одержала победу еще по принципиальному вопросу—должно ли верховное командование вообще существенно влиять на политические решения, но эта победа в отношении конкретной аннексионистской программы не возымела никаких практических последствий. «Коронной совет, — пишет Гофман, — не дал ничего положительного. Статс-секретарю Кюльману не была ясно указана его линия поведения в Бресте, и польский вопрос не был выяснен. Кайзер лишь одобрил образ действий Кюльмана и уполномочил его итти по намеченному пути. Трудная проблема устроения пограничных государств так и осталась висеть в воздухе. Правда, верховное командование высказалось за скорое и энергичное ведение переговоров в Бресте, которое должно было отделить от России пограничные государства, находящиеся в германских руках, и передать их центральным державам. Однако Кюльман настоял на том, что определение пограничных государств следует попытаться провести не в форме аннексий, но примирительным путем. С этим мы и уехали 2 января обратно в Брест-Литовск» [123]. Но практически дипломатия побоялась воспользоваться плодами своей победы и эти плоды остались только на бумаге. На деле фактическое руководство брест-литовскими переговорами захватило в свои руки верховное командование, которое начало там твердо проводить свою линию, действуя через своего представителя на конференции, генерала Гофмана. Наконец, в время перерыва делегации Четверного союза получили лишний дипломатический козырь против советского правительства в лице делегации Украинской центральной рады, которая прибыла в Брест-Литовск, как сугубо «самостоятельная» делегация, и сразу же стала вести закулисные переговоры с немцами в пику советской делегации. «Кюльман и я приняли украинцев с радостью,—констатирует Гофман, — потому что с их появлением представилась возможность использовать их в игре против петербургской делегации». Все эти обстоятельства не могли, конечно, не оказать влияния на ход переговоров. Но они являлись только привходящими моментами и принципиально не изменяли сущности дела. Германские требования как были аннексионистскими, так аннексионистскими и остались, — в этом отношении ничего не изменилось, кроме разве незначительного расширения территориальной программы. Изменились только дипломатический метод и манера, с которой эти требования должны были выставляться на мирной конференции. Дипломаты сделались наглее и агрессивнее.

С самого начала дальнейших переговоров Кюльман твердо и недвусмысленно поставил основной вопрос: судьба аннексированных стран не подлежит изменению, и если вопрос о сроках и порядке вывода войск из оккупированных территорий может быть подвергнут техни-

ческой разработке в особой комиссии, — он делал ударение именно на технической стороне вопроса, — то это во всяком случае не относится к аннексированным странам. «Как это вытекает из характера понятия очищения, — заявил он, — оно распространяется на все области, занятые во время войны, поскольку для некоторых из них по особым своеобразиям ясно не оговорено исключения. По существу оно распространяется конечно только на области, еще составляющие часть территории того государства, с которым заключается мир. Но те области, которые к моменту наступления мира уже не составляют части этой государственной территории, оно не распространяется... Мы утверждаем, что в некоторых частях занятых нами областей органы, фактически уполномоченные представлять соответствующие народы, пользуясь правом на самоопределение, высказались уже за отделение от России и что, по нашему мнению, эти области сегодня уже не могут рассматриваться как часть Российского государства» [124]. Это было решительным и вполне исчерпывающим заявлением.

Кюльман указывал, что отделение, областей аннексированных от России в пользу Германии и порядок, существующий в них, должен быть закреплены по мирному договору, а так как обе делегации вначале условились говорить на языке демократического мира, то он, Кюльман, будет обозначать этот порядок понятием самоопределения наций. Он еще настолько надеялся, что советская делегация не станет препятствовать тому, чтобы разговаривать этим языком, что пытался, хотя безуспешно, приписать Иоффе взгляд, будто тот в бытность его председателем мирной делегации не прочь был признать созданные немецкой оккупацией органы законно-уполномоченными органами соответствующего народа de facto, т.-е. пытался изобразить, что в первый период переговоров сама советская делегация, соглашалась с тем, что существующий в аннексированных странах порядок и есть осуществление их народами права на самоопределение. Но надежды и рассчеты фон-Кюльмана потерпели резкое крушение. Троцкий сразу же стал разоблачать истинное положение вещей и вместе с тем истинный смысл его махинаций. «Я не могу однако, согласиться,— возразил он, — и это есть мнение нашего правительства, — что всякий орган, который застигнут оккупацией на данной территории и который считает себя выразителем данной народности, причем претензия данного органа опирается быть может именно на присутствие здесь чужих войск, действительно может и должен быть нами признан выразителем воли данного народа» [125]. А в заключение дискуссии по этому вопросу Троцкий со всей резкостью заявил, что «на том условном языке, который мы употребляем в таких случаях, это обозначается не словом «самоопределение» народов, а совсем другим выражением; это другое выражение гласит: «аннексия»... Можно строить мирные переговоры на разных принципах, — на принципе самоопределения и на принципе аннексий».

В силу самого характера выявления этих разногласий, поскольку Кюльман продолжал жульничать, т. е. выдавать аннексии за самоопределение наций, а советская делегация отнюдь не намерена была этому потворствовать, — наоборот, она всячески стремилась это разоблачить, — переговоры неизбежно перешли в область преимущественно теоретической дискуссии о понятии принципа самоопределения наций. В центре дискуссии встал вопрос о начале существования самостоятельной нации, как таковой, и об органе, который может быть призван к осуществлению ее самоопределения. Кюльман в соответствии со своими расчетами выдвинул ту точку зрения, что орган являющийся выразителем народной воли, должен черпать авторитет главным образом из своего «исторического прошлого», и как только такой орган формально заявит о своем решении быть самостоятельным, то с этого момента юридически возникает нация, как целое. В практическом применении это означало, что «исторически возникшие» в аннексированных странах органы являются подлинными выразителями воли их народов и что с того момента, как они приняли продиктованные им декларации, эти народы уже «самоопределились». Советская делегация признала эту «историческую теорию» реакционной и находящейся в коренном противоречии с принципом самоопределения наций. Троцкий выдвинул диаметрально противоположную точку зрения: решающим и единственным источником для возникновения самостоятельной нации, так же как и для авторитета представительного органа, является воля самих народных масс в каких бы формах она ни была выражена. «Для того чтобы был вообще поставлен вопрос о дальнейшей судьбе того или другого народа, входящего в состав определенного государства, необходимо, чтобы из среды данного народа раздались достаточно авторитетные голоса и заявления, требующие изменения его судьбы. Такие требования могут получить различную форму: в одном случае это могут быть восстания, как в Ирландии, в Индии, в другом случае — это могут быть заявления ландтагов, муниципалитетов, земств. И мы рассматривали бы голос ландтага как выражение стремлений известной влиятельной части народа, точно так же как заявления, скажем, крестьянских организаций или рабочих профессиональных союзов в тех же областях» [126]. Вывод из этого состоял в том, что вопрос о судьбе соответствующих наций может быть решен только на основе всенародного голосования, а инициативу проведения их национального самоопределения может взять на себя только такой орган, который выдвинут широкими массами данных народов.

Эта дискуссия выявила коренное различие исходных точек зрения, коренное различие в самом подходе к политическим вопросам. Но все же это носило, так сказать, сугубо академический характер. Практический же смысл всей дискуссии сводился к одному: советская делегация показала, что она не допустит говорить о самоопределении когда дело идет об аннексиях. «Мы, революционеры, но мы реалисты, —

сказал Троцкий, — и мы предпочитаем прямо говорить об аннексиях, нежели говорить, подменивая подлинное название псевдонимом». Наоборот, Кюльман хотел, казалось, этим показать, что если аннексии так или иначе должны быть подтверждены в мирном договоре, а советская делегация хочет построить этот договор на принципе самоопределения, то в арсенале его, Кюльмана, юридической логики найдется достаточное количество средств и приемов, чтобы придать аннексии подобающую и соответствующую духу договора форму. «Кюльман надеялся, другими словами, — пишет Троцкий, — на молчаливое соглашение с нами; он возвратит нам наши хорошие формулы, мы дадим ему возможность без протеста заполучить в распоряжение Германии провинции и народы. В глазах немецких рабочих насильственный захват получит, таким образом, санкцию русской революции. Когда мы показали во время прений, что для нас дело идет не о пустых словах и не о декоративном прикрытии закулисной сделки, а о демократических принципах сожительства народов, Кюльман воспринял это как злонамеренное нарушение молчаливого договора. Он ни за что не хотел сходить с позиции формулы 25 декабря, полагаясь на свою изощренную бюрократически-юридическую логику, старался на глазах всего мира показать, что белое ничем не отличается от черного и что только наша злая воля заставляет нас настаивать на этом различии» [127].

Однако теоретические дебаты уводили переговоры в сторону от практической постановки основных вопросов. И хотя это было на руку немецким и австрийским дипломатам, военное командование начинало терять терпение. Но такое направление переговоров не соответствовало и желаниям советской делегации. В целях внести полную ясность в действительное положение вещей и более резко и до конца выявить действительные позиции обеих сторон советская делегация первая предложила изменить метод переговоров, а именно, подведя итоги прошедшей дискуссии, кратко и в письменной форме сформулировать основные разногласия «для того, чтобы правительства и общественные круги имели перед собой точную формулировку и могли дать себе ясный отчет как в принципиальных исходных позициях, так и в практических предложениях обеих сторон». Одновременно советская делегация в особой декларации, оглашенной Каменевым, кратко сформулировала свои практические предложения, которые должны лечь в основу построения мирного договора. Они сводились к следующему. 1) Обе стороны подтверждают полное отсутствие каких бы то ни было притязаний на включение окраин бывшей России в свою территорию и обязуются ни прямо, ни косвенно не принуждать их к принятию той или иной формы государственного устройства и до окончательного завершения процесса самоопределения в этих областях не стеснять их самостоятельности какими бы то ни было таможенными или военными конвенциями. 2) Решение вопроса о судьбе самоопределяющихся областей должно происходить в усло-

виях полной политической свободы и отсутствия какого-либо внешнего давления и, следовательно, после полного вывода чужеземных войск, срок которого устанавливается особой комиссией. 3) С момента подписания мира и до окончательного государственного конструирования этих областей внутреннее управление их переходит в руки временного органа, который должен быть составлен путем соглашения жизнеспособных политических партий данного народа. 4) Окончательное решение о государственном положении и о форме внутреннего строя самоопределяющихся областей устанавливается путем всенародного референдума на вышеуказанных основаниях [128].

В этих предложениях заключались абсолютно точные и исчерпывающе сформулированные те самые основные необходимые условия, при которых только и могло осуществиться подлинное самоопределение оккупированных областей. Советская делегация поставила перед империалистами вопрос ребром: принимают ли они эти условия или они их отвергают? И хотя дипломаты и на этот раз постарались увильнуть от прямого ответа и в своей контр-декларации, отвергнув по пунктам все предложения советской делегации, все же сохранили демократический стиль и выражения: «самоопределение наций»,— чуждое тонкого обращения, военное сердце генерала Гофмана не выдержало. Не дожидаясь со стороны своих дипломатических товарищей даже какой-либо реплики на советскую декларацию, генерал сразу после Каменева встал и с побагровевшим лицом стукнул кулаком по столу. «Русская делегация, — начал он, — заговорила так, как будто бы она представляет собой победителя, вошедшего в нашу страну. Я хотел бы указать на то, что факты как-раз противоречат этому: победоносные германские войска находятся на русской территории». И в дальнейшей речи он совсем грубо подчеркнул, что вопрос вовсе не в самоопределении, а в силе. Германия завоевала, Германия опирается на балтийское дворянство, и она не отдаст ни одного куска завоеванного [129]. Дипломаты не одобряли генеральского поведения. По их мнению, оно только напрасно обостряло положение и срывало покров с их дипломатической игры. Кюльман и Чернин, как описывает последний, указали Гофману, что его речь «достигла только того, что раздражила против нас тыл». Но генерал, смутившийся было вначале, получив похвалы от Людендорфа, после этого и в ус не дул, и в дальнейшем он всякий раз разряжал атмосферу тем, что клал свой солдафонский сапог на стол, за которым плелась тонкая дипломатическая паутина.

Несмотря на то, что поведение Гофмана явно угрожало срывом мирных переговоров, оно в одном отношении облегчало задачу советской делегации. Советская делегация неуклонно и систематически старалась разоблачить дипломатические маневры империалистов и показать, что под всеми их речами о соглашении скрывается только одно слово — насилие. Она стремилась перед общественным мнением всего мира придать переговорам такую форму, которая соответствовала настоящей действительности, и в этом отношении генерал невольно

оказывал ей услугу. И после того как он, спустя несколько дней, представил конкретные территориальные притязания делегаций Четверного союза, Троцкий мог уже с полным основанием заявить, что «ясность была бы достигнута несомненно скорее, если бы условия противной стороны были поставлены с самого начала не в чуждой им плоскости самоопределения народов, а так, как они были сегодня выявлены генералом Гофманом, т. е. как вытекающие из права военной оккупации»...

И когда империалистические дипломаты окончательно убедились, что им не удастся вести переговоры с советской делегацией о своих аннексиях в форме самоопределения наций, они истолковали это как нежелание ее уступить Германии в полном объеме те земли, на которые сама Россия претендовала. Поэтому они соответствующим образом изменили тактику. «После того, как провалилась попытка убедить российских представителей выдать германские аннексии за результаты самоопределения народов, — пишет Фрелих, — тактика Кюльмана свелась к тому, чтобы сделать России территориальные уступки. Он готов был оставить России Ригу и о. Эзель. Он все еще был в полной уверенности, что при этих мирных переговорах происходит обычный торг дипломатов» [130]. Но эта новая тактика потерпела не менее резкое крушение, чем предшествующая. Советская делегация даже и не перешла на эту почву обсуждения. Она ни на минуту не переставала противопоставлять тактике империалистов тот категорический взгляд, что для нее дело идет не о разграничении сфер территориального господства между Россией и Германией, не о разделе между ними окраинных территорий бывшей России, а о свободе и самоопределении самих народов. «Мы защищаем не владения России, — все время повторял Троцкий, — мы отстаиваем права отдельных народностей на свободное историческое существование» [131].

В этом более чем в чем-либо другом сказалась вся непримиримая противоположность позиций обеих делегаций, которая отражала лишь исторически существующую противоположность в подходе к национальному вопросу буржуазии и пролетариата. Для буржуазии, в особенности для империалистической буржуазии, международное регулирование положения слабых наций — это вопрос сделки о разделе территорий или сфер влияния между державами, вопрос «практического соглашения», констатирующего их соотношения сил. Для пролетариата это прежде всего вопрос о свободе и самоопределении народов. Пролетариат ставит его как принципиальный вопрос, не допускающий никаких отступлений, никаких уступок, и в этом смысле не подлежащий никакому «практическому» соглашению. Ленин как-то замечал по другому поводу, что вся позиция пролетариев в национальном вопросе «непрактична» с точки зрения буржуазии, ибо пролетарии принципиально требуют «абстрактной» свободы, «абстрактного» равноправия для угнетенных наций, не отступая от этого требования под влиянием «практической» ситуации [132]. Это остается применимым

и в данном случае, когда пролетариат выступает как государство на международной арене.

Мирные переговоры в Брест-Литовске чрезвычайно ярко отразили эту исторически-классовую противоположность. Германская дипломатия с первого и до последнего дня мирной конференции ставила основной вопрос о судьбе прибалтийских народов как вопрос о разграничении их территорий между сферой территориальных владений России и Германии и как именно в качестве такового вопроса являющийся предметом мирных переговоров. Она, по словам Каменева, «была уверена, что мириться с Россией — значит торговаться о том, кому именно достанутся эти земли: по старому — России или Германии». Напротив, советская делегация с самого начала поставила этот вопрос на принципиальную высоту. Еще на одном из самых первых заседаний второго периода мирной конференции, когда Кюльман предложил параллельно договариваться по экономическим вопросам, Троцкий указал ему, что «для нас вопросы экономического характера стоят в полной зависимости от улажения основного разногласия, которое возникло между обеими делегациями по вопросу о самоопределении наций. Мы не думаем, что в экономической области могут встретиться непреодолимые затруднения». Исходя из этого он заявил, что «мы считали бы нецелесообразным начинать сейчас обсуждение экономических вопросов, пока мы так или иначе не ликвидировали того основного вопроса, который нас сейчас так остро разделяет» [133]. С этой принципиальной высоты советская делегация не сходила в течение всего времени мирных переговоров. И поэтому, когда впоследствии Кюльман начал делать России территориальные уступки, она ни минуты не колеблясь не только не встала на этот путь обсуждения, но еще с большей силой продолжала разоблачать аннексионизм германского империализма.

Но иначе и не могло быть. Иное противоречило бы всей исторической и классовой сущности советской власти. Это очень хорошо выразил тогда Каменев в своем отчете о мирных переговорах. «Предъявлять какие-либо права собственности на эти области Российская республика не может, если она искренно воспринимает лозунг «без аннексий», если она честно поддерживает стремления ирландцев, чехов, сербов, армян, индусов. Но этого мало. Принять бой с германской дипломатией на этой почве — почве обмена аннексиями, тягаться с ней за право собственности на те или другие иноплеменные области — значило бы не только изменить своим собственным принципам. Это значило бы заранее обречь себя на капитуляцию перед германским империализмом. В деле дележа чужих земель, в обмене аннексиями право всегда на стороне силы. Германские войска сейчас сильнее войск нашей республики. Положить в основу своих условий мира право России на эти области, отстаивание старых государственных границ — значило бы стать на ту

почву, на которой сильнее всего чувствует себя международная буржуазия, значило бы стать на ее собственную почву» [134].

Эта принципиальная защита самоопределения окраинных народов легла в основу всей дальнейшей политики советского правительства в отношении прибалтийских государств. Октябрьская революция, освободив от политического гнета все народы, входившие в состав бывшей России, взяла на себя защиту их национальной свободы в качестве своей исторической миссии. В период Бреста победа принципа самоопределения наций в Польше и Прибалтике была равносильна победе Октябрьской революции в этих странах, ибо осуществить это самоопределение могли только революционные пролетарские и трудящиеся массы, которые тяготели к Советской России. И обратно — победа германской аннексии означала усиление контрреволюции в этих странах, превращение их в контрреволюционный аванпост против Советской России. Каменев совершенно справедливо указывал тогда, что «вопрос о том, выведут или не выведут германцы свои войска из Польши, Литвы и Латвии, дано ли будет этим странам действительное право самоопределения или нет, стал вопросом классовой борьбы российского пролетариата, неотделимой частью всей его классовой политики» [135]. Эта связь сохранилась и потом, после крушения германского империализма, когда буржуазия прибалтийских народов, опираясь на помощь против Германии Антанты, добилась, наконец, их самоопределения, хотя самоопределения уродливого, половинчатого, полубалканского, какое только и способна была дать Антанта и какого только и способна добиться буржуазия в эпоху империализма. Своей неизменной и безусловной, в противоположность Антанте, позицией в отношении государственного суверенитета и независимости прибалтийских народов Советская республика была в солидной степени обязана тому, что ей удалось оторвать эти страны от антисоветской политики Антанты в период интервенции и склонить их к заключению мира. В мирных договорах с ними советское правительство безоговорочно признало их независимость и самостоятельность и добровольно и «на вечные времена» отказалось от всяких суверенных прав, принадлежавших России и вообще «от каких бы то ни было обязательств для их народов и территорий, кои вытекают из прежней их принадлежности к России» [136].

Но и после восстановления нормальных дипломатических сношений с капиталистическим миром, на протяжении всей своей дальнейшей внешней политики советское правительство неизменно продолжает стоять на страже сохранения этими государствами своего самоопределения и своей независимости и оберегает ее от покушений со стороны империалистических держав. Чрезвычайно ярким доказательством такой политики может в последнее время служить, например, участие советского правительства в польско-литовском конфликте по виленскому вопросу; в особенности если сравнить его

с позицией по этому же вопросу империалистических покровителей Литвы и Лиги Наций. Именно этому мы в некоторых отношениях обязаны тем, что лимитрофные государства до известной степени уклоняются от тех агрессивных выступлений против Советского Союза, на которые их непрерывно толкают западные империалистические державы. «Мы не можем, — говорил Литвинов на IV сессии ЦИК СССР в 1928 г., — не интересоваться живейшим образом судьбой пограничных с нами стран, в особенности в виду их расположения на наших главнейших путях на Запад. Мы внимательно следим за сохранением этими республиками полностью формально и фактически своей независимости и самостоятельности и за тем, чтобы самоопределение в применении к ним никем не толковалось по-балкански. Особое внимание мы вынуждены уделять той борьбе за независимость, которую ведет Литовская республика, с которой мы находимся в неизменно дружеских отношениях» [137].

На Брест-Литовской конференции советская делегация стойко защищала самоопределение окраинных народов до самого конца. И когда стало совершенно ясно, что империалисты ни шагу не ступят в этом направлении, тактика ее свелась к тому, чтобы, всемерно разоблачая их аннексионизм, подорвать германский империализм изнутри, дотянуть дело до непосредственно-революционной ситуации. Но революционная ситуация задерживалась, а переговорам рано или поздно должен был наступить конец, ибо империалисты не на шутку уже начинали терять терпение. В этой обстановке нельзя было, однако, итти на дипломатические уступки, ибо это значило стать на почву аннексий. Надо было либо продолжать стоять на своей принципиальной позиции, либо, не сходя с этой позиции, сдаться открыто и явно перед силой штыка; и обстановка диктовала второе. Под этим углом зрения можно, пожалуй, объяснить тактику Троцкого — разрыв переговоров на основе «ни мира, ни войны» [138], но эта тактика была конкретно-политически ошибочна, ибо во имя г о л о г о принципа самоопределения наций ставила самую жизнь Советской республики под удар германского империализма. Зато абсолютно правильной была тактика Ленина, который подписал мир, но подписал его без обсуждения, открыто характеризуя сущность этого мира, подписал его в такой форме, чтобы всем стало совершенно ясно, что этот мир диктуется с оружием в руках, что советское правительство вынуждено принять его во имя спасения революции. Именно так и была построена декларация Сокольникова при подписании договора.

В партийной дискуссии и вообще во всей политической полемике, которая потом развернулась вокруг Брестского мира, не только со стороны буржуазии и социал-демократии, но даже со стороны так называемых «левых коммунистов» раздавались упреки в том, что советское правительство предало интересы угнетенных народов и отказалось от принципа самоопределения наций. Ленин решительно положил конец всем этим антиреволюционным или, в наилучшем

случае, антимарксистским разглагольствованиям, со всей резкостью поставив вопрос, «что выше — социализм или самоопределение наций».

«Ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций (Польша, Литва, Курляндия и пр.), то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше» [139]. «Позволительно ли из-за нарушения права наций на самоопределение отдавать на съедение Советскую социалистическую республику, подставлять ее под удары империализма в момент, когда империалисты заведомо сильнее, Советская республика заведомо слабее? Нет. Непозволительно. Это не социалистическая, это буржуазная политика» [140].

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

На другой день после захвата власти пролетариат оказался перед весьма сложными внешне-политическими задачами: необходимо было в короткий срок привести страну к миру и поставить ее в то или иное отношение к окружающим империалистическим державам. Для осуществления функций внешней политики новому государству требовались особая политическая система и особый политический аппарат. Старая дипломатия была уничтожена вместе со всей старой государственной машиной, и пролетариат должен был создать совершенно новую дипломатию, которая способна была бы разрешать задачи революционной внешней политики. Но качественное содержание самой политики накладывало резкий отпечаток на методы дипломатии. Нельзя было, порвав все империалистические нити, сохранить тайную дипломатию. Новая революционная дипломатия, выступая во имя прямо противоположных политических принципов, должна была пользоваться и существенно иными дипломатическими методами. Создавая эти методы, она не только не могла в какой-нибудь мере воспользоваться опытом старой дипломатии, но не имела вообще никакого «дипломатического» опыта. Впервые на арене Брест-Литовской мирной конференции эти методы непосредственно создавались в процессе борьбы с немецким империализмом и впоследствии дали направление дальнейшей дипломатической деятельности пролетарского государства.

Основной международной задачей, стоявшей перед пролетариатом в Октябрьской революции, было превращение империалистической войны в войну гражданскую. Под углом зрения этой задачи революционная дипломатия строила всю свою политику. «В первый момент,— пишет Н. Овсянников, — задача казалась легко разрешимой: начавшаяся в Германии революция не замедлит притти на помощь русскому пролетариату и развяжет ему руки, превратив империалистическую бойню в социалистическую войну. Необходимо только развязать германскую революцию, как можно энергичнее и громче провозгласив лозунг: «Мир хижинам, война дворцам», и опубликовав тайные аннексионистские договоры прежних российских правительств и их союзников. Такова была тактика русской делегации в Бресте в первый

период переговоров»... [141]. И если в ожидании этой непосредственно революционной ситуации приходилось постоянно лавировать и маневрировать в условиях империалистического окружения, — ибо сам мирный договор представлял, по словам Ленина, одно живое маневрирование, — то это строго ограничивалось тем, что нужно было для того, чтобы «продержаться», и отнюдь не превращалось в так называемую «реальную политику», обычную для всякой дипломатии» [142].

Советская делегация выступала в Бресте перед германским империализмом не как представительница национальных интересов определенной страны, а как представительница интересов всего международного пролетариата и всех угнетенных наций. Это придавало резко-особый характер самой дипломатической борьбе. Делегация не договаривалась с империалистами втайне от народных масс об условиях выгодной мирной сделки, а открыто выдвигала перед ними принципы революционного мира, которые империалисты неспособны были освоить, но которые были непобедимыми лозунгами для всего мирового пролетариата. Каменев был совершенно прав, когда в своей речи на III Съезде Советов, говоря о начавшихся волнениях австрийского пролетариата, направленных в пользу мира с советским правительством, указывал, что «если бы в Брест-Литовск явились Керенский и Милюков с неразорванными тайными договорами империалистов Согласия, с непорванными связями с финансовым трестом Западной Европы и Америки... и т. д. и т. д., то не только у австрийских социал-патриотов, но даже у подлинного австрийского пролетариата не явилось бы сознания о том, что в Бресте ведется борьба классовых интересов, что победа Гофмана означает не только поражение русского пролетариата и русской революции, но и поражение германского, австрийского и всего международного пролетариата» [143].

Живым примером такой противоположной, оппортунистической тактики является тактика Украинской рады, которая представляла собой, по выражению Троцкого, «перевод на украинский язык тактики правительства Керенского». «Они, — сравнивал украинских делегатов Чернин с советской делегацией, — значительно менее революционно настроены, они гораздо более интересуются своей родиной и очень мало социализмом. Они в сущности не интересуются Россией, а исключительно Украиной, и все их старания направлены к тому, чтобы как можно скорее эмансипировать ее» [144]. Украинские делегаты выступали в Бресте как представители исключительно узко-национальных интересов Украины, и их главным стремлением было добиться со стороны австро-германских империалистов признания ее независимости, которая в тех условияхне могла не быть чисто фиктивной. Но ради этого они с большой готовностью отдавали Украину в кабалу империалистам и с благодарностью соглашались подчиниться оккупационному режиму. Такого рода «национализм», разумеется, отнюдь не выражал народных тенденций к осуществлению права Украины на самоопределение, а

являлся, как определил его Троцкий, «только временным орудием самообороны определенных слоев населения, опасающихся революционной власти». Это было настолько очевидно, что повсеместно подчеркивалось как австро-германской, так и антантовской прессой. «На Украине, — писала, например, газета Эрве «Victoire» от 6 февраля 1918 г., — где каждый человек называет себя социалистом, но где, однако, социалистов очень мало, понимают, что истинным врагом являются не Германия и Австро-Венгрия, но дикие банды большевиков. Украинцы предпочтут ненавистным, пьяным и вандальским ордам Красной гвардии немецкую и австрийскую жандармерию, которая поможет им восстановить порядок, и при всей своей усталости от войны и сепаратистских тенденциях подпишут капитуляцию».

Дипломатические переговоры украинской делегации с делегациями Четверного союза сводились к тому, что они торговались между собой по поводу различных «национальных интересов», преимущественно по поводу границ и территорий. Украинцы выторговали себе признание своей «независимости», присоединение к Украине Холмского района и части Галиции и прочие вещи. В обмен за это они предоставили австро-германскому империализму право оккупировать Украину и извлечь из нее неограниченное количество хлеба и сырья. Но почти одновременно с этим Украинская рада столь же ревностно продавала себя и антантовскому империализму. Собираясь вступить в сепаратные переговоры с немцами, она не брезговала в это же время получать из Англии и Франции и золото, и тяжелую артиллерию, и военных инструкторов. Услуги, обещанные Антанте, были настолько широки, что Альбер Тома высказывал даже предположение, что именно Украина спасет интересы французской биржи на восточном фронте. Все это нисколько не противоречило обычным традициям дипломатии. По отношению к советскому правительству делегация Рады совершала непосредственное предательство: она не только разбивала единый фронт против империалистов, ведя с ними переговоры за его спиной, но договаривалась с империалистами о помощи против большевиков. Недаром буржуазия Германии и Австро-Венгрии и в парламентах и в печати так рукоплескала украинцам, всячески восхищалась их лойяльностью [145], и радуясь тому, что с помощью украинской делегации легче будет справиться с советской делегацией в Бресте и принудить ее к миру, которого Германия и Австро-Венгрия желают. «Переговоры с Украиной подвигаются вперед отличным темпом, — сообщала например социал-демократическая «Freie Presse». — Если они приведут к соглашению, то тогда развитие переговоров с г. Троцким может быть для нас безразличным» [146].

В противоположность украинской делегации советская делегация вела дипломатическую борьбу совершенно иного рода. «Делегация понимала, — говорил Каменев на III Съезде Советов, — что от исхода ее стремлений, от того, в какой степени международный пролетариат усвоит себе сущность этого спора, зависит не только весь исход пере-

говоров, но и вся судьба мировой революции. Лозунги наши оказались бы непреоборимыми, если бы международный пролетариат понял, что на конференции идут споры совершенно особые, совершенно непохожие на те споры, которые всегда в подлежащих случаях шли на конференциях прежнего времени»[147].

Этим в значительной степени определялись и дипломатические методы советской делегации. Во всей своей тактике делегация ориентировалась главным образом не на буржуазные империалистические правительства Четверного союза, а на международный пролетариат, в особенности же на пролетариат Германии и Австро-Венгрии. Она открыто перед всеми народами выдвигала условия демократического мира и тем самым предоставляла решение по поводу этого мира самим народам. Все декларации, которые были ею оглашены на дипломатической конференции, все речи, которые произносились там советскими делегатами, были обращены не столько к их дипломатическим партнерам, сколько к трудящимся и угнетенным массам воюющих стран. Исход своих мирных требований советская делегация ставила преимущественно не в зависимость от того, как отнесутся к ним империалистические правительства Германии и Австро-Венгрии, а от того — насколько данным требованиям удастся завоевать сочувствие и поддержку революционного пролетариата этих стран. «В могущественном протесте рабочих Вены, Нижней Австрии и Венгрии против аннексионистского мира, в пробуждении революционного движения пролетариата в Германии, — гласила резолюция III Съезда Советов, — Всероссийский Съезд усматривает лучшую гарантию против империалистического мира, основанного на порабощении, насилии и замаскированной контрибуции»[148].

Вполне понятно поэтому, что полная публичность и гласность мирных переговоров представляла для советской делегации conditio sine qua non. Иоффе в первый же день предложил, чтобы все заседания конференции велись публично и чтобы каждая сторона имела право полностью публиковать протоколы. И когда Кюльман, «не возражая против гласности самой по себе», выразил опасение, что постоянное осведомление о ходе переговоров до их окончания «возбудит газетную полемику и может угрожать продолжению и успешному окончанию переговоров», то Иоффе твердо заявил: «Мы полагаем, что, наоборот, открытое и гласное обсуждение условий мира полезно и даже необходимо в интересах достижения того мира, за который мы боремся». Но этого-то больше всего и боялись империалисты, так как их тактика в противоположность тактике советской делегации сводилась как-раз к тому, чтобы обманывать народные массы и утаить от них фактически предъявляемые ими условия и мирную программу советского правительства. Для этой цели в дальнейшем они не только не опубликовывали полностью протоколы конференции, но подвергали их явно тенденциозному сокращению и прямому искажению, причем особенно старательно сокращались речи советских деле-

гатов, из этих речей выветривался весь их революционный смысл. Троцкий неоднократно выражал протесты против такого рода «информации общественного мнения» и в конце-концов вынужден был заявить, что, «придавая огромное значение точному осведомлению общественных кругов всех стран с действительным ходом мирных переговоров», он предложил советскому правительству «пригласить европейское общественное мнение считаться только со стенографическими отчетами, которые наша официальная печать публикует без каких-либо изменений и сокращений».

Вся дипломатическая тактика советской делегации была построена на возможно более тесной и непосредственной связи ее с трудящимися массами всего мира и в первую очередь с трудящимися массами своих противников. От того, в какой мере удастся практически осуществить эту связь, зависел и успех самой тактики. Естественно, что при этом колоссальное значение приобретал вопрос о месте переговоров. Во время первого же перерыва советская делегация предложила перенести конференцию из Брест-Литовска в Стокгольм. Здесь главную роль играло даже не то, что Стокгольм являлся нейтральным местом, а то, что продолжение переговоров в Брест-Литовске, главной квартире немецких армий восточного фронта, давало возможность империалистам изолировать советскую делегацию от пролетариата всех остальных стран и помогало им скрывать от своих народов и угнетенных наций действительное содержание переговоров и истинный смысл происходящей борьбы. «Мы считали, — заявил Троцкий на конференции, — крайне нежелательным продолжать переговоры в таких условиях, которые давали бы право утверждать, будто мы, отрезанные от источников всесторонней информации, изолированные от общественного мнения мировой демократии, не имея даже гарантий того, что наши заявления доходят до ведома народов Четверного союза, участвуем в решении судьбы живых народов за их спиной» [149]. Но для империалистических правительств Германии и Австро-Венгрии непосредственное соприкосновение революционной дипломатии пролетарского государства с пролетариатом их стран представляло самую грозную опасность. Это была их «ахиллесова пята». Поэтому они категорически отказались переносить конференцию в какое бы то ни было нейтральное место из Брест-Литовска. Мотивировалось это тем, что они хотят предохранить советскую делегацию от возможных закулисных махинаций Антанты. Так объяснял свой отказ Гертлинг в Главном комитете рейхстага, и так формулировал его Чернин на мирной конференции. «Перенесение переговоров на нейтральную почву, — заявил последний, — дало бы Согласию давно желанную возможность вмешаться с целью воспрепятствовать делу мира» [150]. Но подлинные мотивы были, конечно, совершенно другие. Тот же Чернин вполне откровенно высказал их в своих мемуарах: «Перенесение конференции в Стокгольм, — писал он, — было бы для нас концом всего, потому что оно лишило бы нас возможности

держать большевиков всего мира вдалеке от нее. В таком случае стало бы неизбежно именно то, чему мы с самого начала и изо всех сил стараемся воспрепятствовать: поводья оказались бы вырванными из наших рук, и верховодство делами перешло бы к этим элементам»[151]. Советская делегация вынуждена была принять ультиматум и остаться в Брест-Литовске, чтобы, как выразился Троцкий, «не оставить неисчерпанной ни одной возможности в борьбе за мир народов». В дальнейшем она неоднократно пыталась несколько смягчить ту атмосферу искусственной изоляции, которая создавалась ведением переговоров в Брест-Литовской крепости. В самом начале второго периода переговоров, 10 января, Троцкий обратился к Кюльману с письмом, в котором он просил открыть свободный доступ на конференцию представителям прессы как участвующих в переговорах, так и нейтральных стран, без различия направлений. Заявление это было оставлено без ответа, а в немецких официальных сообщениях отчеты о переговорах попрежнему подвергались искажению и фальсификации, несмотря на резкие протесты советской делегации.

Та борьба, которую вела советская делегация в Бресте, была непосредственно-революционной борьбой не только с точки зрения русской революции, но и в международном масштабе. «То, что делала русская делегация в Бресте, — справедливо отмечал Каменев, — пролетариат всего мира признал с в о и м делом. Международной борьбе пролетариата за мир поездка русских делегатов в Брест дала сильный толчек, гораздо более сильный, чем могла дать любая «стокгольмская» или какая-либо другая конференция, собранная под протекторатом дельцов международного социал-патриотизма. Более того. Именно в Бресте программа международного демократического мира была впервые перед всем человечеством развернута в декларациях русской делегации, с исчерпывающей полнотой, точностью и конкретностью. Там, в Бресте, устами русских делегатов говорил в е с ь международный пролетариат»[152]. Сидя за одним столом с империалистами, советская делегация проводила свою революционную программу мира не путем сделки с дипломатами, а опираясь на поддержку международного пролетариата и ожидая его революционного вмешательства как первой ступени в деле осуществления этой программы. Поэтому основным методом, при помощи которого советская делегация подвигала вперед осуществление своих мирных требований, являлась агитация, обращенная через головы австро-германских империалистов к революционному пролетариату Германии и Австро-Венгрии и всего мира.

В первый период переговоров, когда еще существовала надежда, что германский империализм пойдет на уступки этим требованиям, агитация являлась хотя и весьма существенной, но все же параллельной задачей советской делегации. Однако, когда окончательно выяснилось, что империалисты ни на шаг не отступят от своих захватнических планов, тактика советской делегации свелась к затягиванию

переговоров до момента непосредственного обострения революционного взрыва в Германии, и агитация сделалась для нее самой основной и, можно сказать, единственной задачей всех переговоров. «В этих условиях, — описывает Иоффе, — переговоры по существу утрачивали всякий смысл. В дальнейшем все сводилось к агитационному и революционизирующему значению Брестских переговоров. Переговоры по конкретным вопросам необходимо было продолжать, но они велись в экономической и юридической комиссиях..., — политическая же комиссия во весь второй период переговоров, которыми руководил Л. Д. Троцкий, была сплошной борьбой двух мировоззрений двух миров — старого и нового. Прокатившаяся по всей Польше, Австро-Венгрии и Германии волна январских забастовок и уличных демонстраций наглядно показала, на чьей стороне в этом споре были симпатии широких пролетарских и полупролетарских масс» [158]. В целях усиления агитационного воздействия мирных переговоров на народные массы аннексированных стран советская делегация привлекла к участию на конференции представителей рабочих организаций Польши, Литвы и Латвии, которые выступали в качестве членов русской делегации с декларациями протеста и агитационными речами. Это был скорее не дипломатический маневр с целью парировать ссылку немцев на «законно-уполномоченные» органы этих стран, а именно агитационный прием, в особенности рассчитанный на угнетенные нации. О том, каков мог быть политический эффект этих выступлений, можно судить по тому, что Кюльман реагировал на них не только резкими протестами, но и довольно прозрачной угрозой оборвать переговоры. «Боюсь, — заявил он после речи Бобинского (выступавшего от имени социал-демократии Польши), — что заявления, подобные только-что выслушанной речи члена русской делегации, подвергают серьезному испытанию терпение председателей союзнических делегаций и что не только у немецкой печати возникнет весьма серьезное сомнение в действительном намерении русской делегации довести мирные переговоры до благополучного конца».

Но революционная агитация далеко выходила за пределы мирной конференции в Брест-Литовске. Советское правительство систематически отправляло в Германию воззвания и прокламации, призывавшие немецких рабочих и солдат не выступать в бой против русской революции, не дать немецким и австрийским империалистам сорвать дело мира или навязать России аннексионистский и грабительский мир. И никакие протесты Германии и ее союзников о «вмешательстве» не могли прекратить этой агитации, ибо советское правительство, возлагавшее главные надежды в борьбе за мир именно на трудящиеся массы, отнюдь не стало бы из-за «лойяльности» по отношению к империалистическим правительствам отказываться от этого наиболее радикального средства борьбы. Когда после одного из таких призывов к немецким солдатам, последовавшего вслед за окончанием переговоров о перемирии, германское правительство выразило протест

против «вмешательства» и «нарушения мирных обязательств», то Каменев разъяснял на заседании ЦИК по поводу этого протеста, что если вследствие договора о перемирии «мы обязались не открывать стрельбы по германским солдатам», то «это обязательство именно для того, чтобы вмешаться во внутренние отношения Германии и возбудить среди германских солдат то стремление к миру, о котором с таким ужасом, как о восстании, говорят немецкие генералы».

О том, какое реальное значение имела эта агитация, о том, какую реальную опасность представляло для империалистов подобного рода «вмешательство», показывают внутренние события, происходившие одновременно с мирными переговорами в Германии и Австро-Венгрии. Во время январских забастовок в Вене и в Нижней Австрии, когда на венских предприятиях начались уже выборы рабочих советов, одним из основных лозунгов всего движения был «демократический мир с Советской республикой». Далеко не второстепенную роль играл этот лозунг и во время стачки на предприятиях военной промышленности Берлина, вспыхнувшей в конце января. Империалистам удалось подавить эти движения только путем применения военной силы и беспощадных репрессий и то благодаря лишь тому, что эти движения были преданы изнутри верными империализму социал-демократами [154]. Но особенно опасным было то, что советская агитация неудержимо проникала и в армию, в особенности в войска, расположенные на восточном фронте. Немецкие генералы в своих мемуарах единодушно констатируют, что «большевистская пропаганда» оказала сильное «разлагающее» влияние на армию, и даже указывают, что вследствие этого переброска войск с восточного фронта на западный имела роковые последствия для исхода всей мировой войны» [155].

Под углом зрения всей этой тактики основная роль советской делегации в Бресте состояла не в том, что она вела переговоры с германскими и австро-венгерскими империалистами, а в том, что она разоблачала их перед их народами и пользовалась дипломатическими переговорами для того, чтобы укреплять солидарность советского государства с пролетариатом Германии и Австро-Венгрии на почве общей борьбы за мир. Этому империалисты неспособны были противостоять никаким своим военным превосходством. И получилось, что вооруженная от головы до пят победоносная империалистическая Германия опасалась мирных средств борьбы со стороны истощенной, неспособной даже к обороне революционной России гораздо больше, чем любого военного нападения. «По моему мнению, — писал ген. Гинденбург, — Ленин и Троцкий вели активную политику не как побежденные, а как победители, причем они хотели внести разложение в наш тыл и в ряды нашего войска. Мир при таких условиях грозил стать хуже, чем перемирие. Представители нашего правительства при обсуждении вопросов мира поддавались ложному оптимизму. Высшее военное командование учитывало опасность и предостерегало против нее» [156]. И действительно, Гинденбург и Людендорф не-

однократно убеждали правительство и кайзера положить конец этим переговорам, которые служат для «всемирной пропаганды большевизма», и только благодаря упорному сопротивлению Чернина и заявлениям Кюльмана, все еще надеявшихся, что советская делегация пойдет на сделку, переговоры продолжались. Однако, когда в начале февраля в Германии было перехвачено одно воззвание, призывавшее немецких солдат не итти в наступление, не повиноваться военному начальству и защищать Советскую Россию, то не только военное командование, но и само правительство побоялось рисковать дальнейшим затягиванием переговоров. Кайзер послал Кюльману телеграмму с приказом предъявить 24-часовой ультиматум, причем потребовать еще и неоккупированные области Эстляндии и Лифляндии и в случае отказа — немедленно оборвать переговоры. Как-раз в это время, по описанию Гофмана, «у Кюльмана сложилось впечатление, что, может быть, все же удастся притти к соглашению с Троцким», но, несмотря на это, разрыв был предрешен. «Последняя надежда притти к соглашению с Петербургом исчезла, — возмущенно жалуется в своих мемуарах Чернин. — Подлость этих большевиков делает переговоры невозможными. Я вполне понимаю, что такое поведение могло взорвать Германию...».

Разрыв переговоров со стороны немцев был предупрежден, однако, декларацией Троцкого, объявлявшей прекращение состояния войны и отказ от мирного договора. Немцы воспользовались этой декларацией в качестве юридического предлога для оправдания возобновления военных действий. Кюльман тотчас же после ее оглашения поспешил заявить, что отказ от мирного договора автоматически влечет за собой прекращение перемирия. Но это, конечно, было лишь очередное жульничество. Сама по себе декларация Троцкого — не весь этот политический маневр в целом, а именно декларация — ни в коей мере не являлась действительным мотивом для «обоснования» немецкого наступления. В действительности до этой декларации наступление в случае неподчинения советской делегации продиктованным ей условиям мира было уже почти решено, ибо, как выразился Сокольников, «не выдержав характера, империалистические партнеры брестского состязания заменили оружие дипломатической аргументации более надежной атакой в штыки» [157].

Использование дипломатической трибуны в целях революционной агитации во всей дальнейшей внешней политике Советского государства являлось весьма существенным приемом нашей дипломатии. Советская внешняя политика, как политика государственно-организованного пролетариата, отвечает не только интересам собственной страны, но и действительным интересам всего международного пролетариата; поэтому агитация представляет для советской дипломатии столь серьезный метод борьбы и столь радикальное средство воздействия на ее буржуазных партнеров. Еще в большей мере это относится к международной пропаганде. Она не раз оказывала решаю-

щее влияние на исход событий в самые критические моменты борьбы Советской республики с капиталистическим миром: в разгар союзной интервенции, во время советско-польской войны и т. д. И буржуазные правительства Европы, вступая в мирные сношения с Советским Союзом, прежде всего спешат заручиться гарантией о полном отказе его от пропаганды. В истории англо-советских отношений упреки в пропаганде и в нарушении соответствующего обязательства договора 1921 г. были одним из первых «козырей» английской дипломатии, особенно консервативного кабинета, в борьбе против СССР. Буржуазные юристы - международники, как, например, Фошиль, возводят целые юридические конструкции, в качестве последнего слова науки международного права, о незаконности международной пропаганды, квалифицируя ее как акт «вмешательства» во внутренние дела иностранного государства. Они, конечно, неспособны понять того, что самая эпоха сосуществования Советского Союза с капиталистическим миром, самые условия мировой борьбы классов таят для них гораздо более грозную опасность «вмешательства», чем любая пропаганда любого государства. И как-раз именно в силу объективной международной революционной ситуации в период Бреста значение и роль советской агитации и пропаганды были, пожалуй, больше, чем в какой-либо другой период. Нити ее реального политического воздействия на массы идут гораздо дальше времени мирных переговоров и тянутся к Ноябрьской революции 1918 года.

Любопытно еще коснуться некоторых второстепенных деталей, которые относятся к внешнему поведению обеих делегаций в Брест-Литовске.

Обе делегации довольно характерно отличались друг от друга своим «façon de parler». Германские и австрийские империалисты в течение всего хода переговоров говорили неукоснительным «дипломатическим» языком. Только ген. Гофман, который, по пояснению Кюльмана, «как солдат и выражается крепче, чем это делаем при переговорах мы, дипломаты», часто нарушал этот тон, так как он всякий раз искал предлога для того, чтобы, как он однажды выразился, «хорошенько ударить русских по голове». И, несмотря на то, что Троцкий неоднократно заявлял, что предпочитает открытую и резкую речь солдата, его противники явно не разделяли этого предпочтения. Они до конца соблюдали свой стиль, ибо дипломатический язык был нужен для них, как внешняя форма их дипломатического жульничества. Они не расстались с этой формой даже в момент подписания мирного договора, когда буквально для каждого было ясно, что они выступают как насильники и грабители. После того как Сокольников огласил свою декларацию, австрийский юрист Грац от имени австрийской делегации выразил «наше искреннее сожаление по поводу того, что г. председатель русской делегации нашел нужным взять сегодня такой резкий тон. Мы надеялись, — добавил он, — услышать в этот день, посвященный подписанию мирного договора между Россией

и Четверным союзом только мирные и спокойные речи, в соответствии с самым духом договора» [158].

Такое же различие наблюдалось все время и в отношении дипломатического этикета. Советская делегация с самого начала, в особенности же после приезда Троцкого, держалась совершенно замкнуто и изолированно и вообще всем своим поведением не оставляла ни малейшего сомнения в том, что она находится в лагере своих политических и классовых врагов. Напротив, представители Четверного союза относились к советской делегации с изысканной предупредительностью и с самой широкой общительностью. Так вели себя не только дипломаты, но и военные сановники. «Прусские офицеры,— вспоминает Покровский, — обычно надменные, принимали с любезностью, граничившей с низкопоклонством, представителей русской демократии, к которым они должны были чувствовать глубокое отвращение и среди которых были солдат, рабочий, крестьянин и женщина, Очевидно, что генерал Гофман и его австро-германские товарищи получили очень точные инструкции о том, как себя держать, и о том, что нужно сохранять хладнокровие» [159]. Им потребовалась для этого, вероятно большая, истинно-дипломатическая выдержка. Недаром на одном из заседаний рейхстага Штреземан так благодарил Кюльмана «за его настойчивость, эластичность и чувство долга, которые дали ему возможность преодолеть отвращение (Wiederwillen) сидеть за одним столом с Радеком» [160]. Их предупредительность к советским делегатам доходила до того, что они рассаживали их за столом строго по «революционным чинам»: матрос Олич и солдат Беляков, как члены политической части делегации, оказались посаженными «выше» адмирала Альтфатера и капитана Липского, являвшихся только военными консультантами. А после подписания мирного договора они предложили отпраздновать это событие и даже заготовили для такой цели вино. Но в этот день вино так и осталось лежать в погребах.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин В. И., Речь на 2-м конгрессе Коммунистического Интернационала, Соб. соч., Гиз, 1925, т. XIX, с. 223.

[2] Ленин В. И.

[3] Ленин В. И., Соб. соч., XIV, ч. I, с. 124.

[4] Соб. соч., XV, с. 17—18.

[5] Dennis A., The Foreign Policies of Soviet Russia, New York, 1924, p. 13—14.

[6] В ответ на ноту Троцкого от 10-XI 1917 г. на имя послов союзных стран, предлагавшую рассматривать декрет о мире «как формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров», союзники обратились через начальников военных миссий к ген. Духонину с «самым энергичным протестом» и с угрозами «самых серьезных последствий».

[7] Каменев Ю., Борьба за мир (Отчет о мирных переговорах в Бресте) П., 1918, с. 30.

[8] Все это очень подробно и очень ярко описывает в своих мемуарах Мстиславский С. (см. «Брестские переговоры». (второе издание), СПБ. 1918, с. 42—46

[9] См. Мирные переговоры в Брест-Литовске, т. I. Пленарные заседания, заседания политической комиссии. Полный текст стенограмм под ред. и с прим. А. А. Иоффе, с предисл. Л. Д. Троцкого, изд. НКИД, М., 1920, с. 13.

[10] Иоффе А, Мирное наступление, Гиз, П., 1921, с. 13. В брошюре последовательно излагается политика мирного наступления, начиная от Бреста и вплоть до периода так называемых мирных конференций.

[11] См. напр. речь Гильфердинга, «Борьба рабочего класса против военной опасности», произнесенную им в 1924 г. на Кильском партейтаге. Напеч. в сб. «Капитализм, социализм и социал-демократия», под ред. и с вступ. статьей А. Слепкова, М., 1928, 108 и сл.

[12] См. «Известия ВЦИК» от 10 ноября 1917 г. № 222.

[13] Эта борьба очень ярко освещена в документах, опубликованных в «Красном архиве». См. «Октябрь на фронте», «Красный архив», XXIII и XXIV, 1927.

[14] Соб. соч., XV, с. 365.

[15] См. Бьюкенен Джорж, Мемуары дипломата, пер. Алексеева и Рубина, 2-е издание, Гиз, 1925, с. 284—287.

[16] Все цитируемые документы см. в «Красном архиве», т. XXIII, 1927, «Октябрь накануне перемирия».

[17] См. Покровский М. Н., Внешняя политики России в XX веке, М., 1926, с. 67 и сл.; см. также его статью «Октябрьская революция и Антанта», «Пролет. революция», № 10 за 1927 г. (Издано отдельной брошюрой, Гиз, 1927).

[18] Ротштейн Ф., Англия и Октябрьская революция, «Историк-Марксист», т. V, 1927, с. 38.

[19] См. «Известия ВЦИК» от 19 ноября 1917 г., № 230.

[20] См. «Известия ВЦИК» от 29 марта 1918 г., № 60.

[21] См. «Известия ВЦИК» от 20 марта 1918 г., № 52.

[22] См. телеграмму Вильсона и ответную телеграмму Съезда в «Известиях ВЦИК» от 15 марта 1918 г., № 48.

[23] Dennis, op. cit., p. 53.

[24] Людендорф Э., Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., пер. под ред. А. Свечина Т. II, Гиз, 1924, с. 120.

[25] Чернин О., В дни мировой войны. Мемуары. Пер. М. Константиновой, с предисл. М. Павловича, Гиз, 1923, с. 235, 236.

[26] См. Брест-Литовская конференция. Засед. эконом. и прав. комиссии под ред. и с вводной статьей Б. Штейна изд. НКИД, 1923, с. 41 и сл.

[27] Ген. Гофман, Война упущенных возможностей, пер. Б. Кулакова с предисл. В. Гурко-Кряжина, Гиз, 1925, с. 195.

[28] Покровский М. Н., Историческое значение Октябрьской революции. «Комм. Революция», № 20 за 1927 г., с. 8.

[29] Каменев, цит. соч., с. 37.

[30] Надо заметить, что эти опасения были напрасны, ибо социал-демократия продолжала верно служить немецкому империализму, даже и после того, как он навязал России откровенно грабительские условия мира. В частности стачки, которые потом возникли по этому поводу, социал-демократии удалось предать и обезвредить. «Я принял участие в руководстве стачкой, — цинично сознавался Эберт на Магдебургском процессе, — с определенной целью как можно скорее привести ее к окончанию и не дать ей повредить стране».

[31] Этот замечательный доклад издан в виде отдельной брошюры на немецком языке. См. S. Grumbach, Brest-Litowsk, Lausanne 1918. Под тем же заглавием им выпущена особая книга на франц. языке (Lausanne, 1920). Этот же Grumbach в декабре 1917 г. написал в «Humanite» за подписью Homo статью «Lenine et Scheidemane», в которой доказывал, что большевики пользуются симпатией немецких социал-демократов и, следовательно, находятся на стороне Германии.

[32] Бьюкенен, Мемуары дипломата, стр. 233—234.

[33] См. Очерки по истории Октябрьской революции. Труды исторического семинара Института красной профессуры, под ред. М. Н. Покровского, т. I, Гиз, 1927, с. 438.

[34] Бьюкенен, Мемуары дипломата, с. 262.

[35] См. отчет о секретных заседаниях Врем. Совета Росс. республики. «Былое», 1918, + 12, кн. 6, с. 10.

[36] Эритье Луи, История французской революции, СПБ, 1907, с. 296.

[37] О сношениях революционного правительства Франции с Россией см. чрезвычайно интересную статью М. Н. Покровского, «Ламартин, Кавеньяк и Николай I», в сборнике «К 75-летию революции 1948 г.», изд. «Красная новь», М., 1925.

[38] Из речей Ленина на VII съезде партии и на VI Всеросс. Съезде Советов. Соб. соч., XV, с.с. 119 и 511.

[39] Соб. соч., XV, с. 59.

[40] См. Чичерин Г. В., Ленин и внешняя политика; ст. в сб. «Мировая политика в 1924 г.», под ред. Ф. Ротштейна. Изд. Ком. ак., 1925, с. 5.

[41] «О левом ребячестве и мелко-буржуазности», Соб. соч., XV, с. 236.

[42] Соб. соч., XIX, с.с. 179—180.

[43] Соб. соч., XIX, с. 155.

[44] Moniteur. (Reimpression. Paris 1854) du 22 avril 1792 (t. XIV).

[45] Moniteur du 18 mai 1790 (t. XII). См. в том же номере речь Вольнея.

[46] Moniteur du 4 Floreal, an III.

[47] Rousseau, Contra social, L. I, ch. VI.

[48] Moniteur du 18 fevrier 1793 (t. XV).

[49] Moniteur du 25 avril 1793 (t. XV). Там же, см. речь аббата Грегуара.

[50] Redslob, Histoire des grands principes du droit des gens, 1923, p. 289.

[51] Redslob, op. cit.; Nys, La Revolution Francaise et le droit int. V. I. Laurent, Histoire du droit des gens et des relation int. T. XV; Aulard, Histoire politique de la Revolution Francaise.

[52] Moniteur du 18 mai 1790 (t. XII).

[53] Moniteur du 20 mai 1790 (t. XII).

[54] См. Революционное правительство в эпоху Конвента (1792—1794), сборник документов и материалов; перев. Н. Фейнберг, под ред. Н. Лукина. М., 1927, с. 333.

[55] См. Сорель А., Европа и Французская революция, пер. с пред. Н. Кареева, СПБ. 1892. Т. III, с. 82.

[56] См. Революционное правительство, с.с. 336—337 и сл.

[57] Там же, с. 338. Эту же мысль еще раньше проводит на деле генерал Дюмурье. В инструкции, составленной им для своих генералов от 30 октября 1792 г. говорится, что если окажутся города или села «забитые рабством» или настолько «тупые», что не поймут преимущества свободы и предпочтут им императорское ярмо, то генералы должны объявить, что поступят с ними как с врагами и что «республиканские армии... «обратят в пепел города и села и будут взимать контрибуции, которые заставят долго помнить об их происхождении». Moniteur du 9 oktobre 1792 (t. XIV).

[58] Сорель, цит. соч., с. 180.

[59] Moniteur du 21 decembre 1792 (t. XIV).

[60] Революционное правительство, с.с. 341, 342. Сорель, цитируя эту речь, замечает: «Следовательно, нет иной политической справедливости кроме той, которая вытекает из государственного интереса, а против этого последнего не может быть никакой другой высшей справедливости», цит. соч., с. 237.

[61] См. Сорель, цит. соч., с. 133, см. также с.с. 117, 118 и сл.

[62] Moniteur du 16 avril 1793 (t. XV).

[63] Ibid.

[64] Politis N., Les nouvelles tenences du droit international, 1927, p. 24—25.

[65] Redslob, Die volkerrechtliche Ideen des franzosischen Rovelution Verlag von I. C. B. Mohr, 1916, S. 300.

[66] См. напр. Fauchil, Traite du droit international publique, Paris 1923, t. I, p.p. 148—149, 160, 155 s.; List, Das Volkerrecht, systematisch dargelegt, II Aufl, Berlin. 1921, S. 366, 168; Oppenheim, Handbook of international Law, 1920, p.p. 14, 15; Verdross, Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der Volkerrechtsverfessung, Tubingen 1923, S. 2, 3s. Schucking und Weberg, Die Satzung des Volkerbundes, 2 Aufl. Berlin 1924, S. 1365s; Redslob, Das Problem des Volkerrechts, Lpz. 1927, S. 264, etc.

[67] Собр. соч., XIX, с. 200

[68] Archiv fur Geschichte des Socialismus und der Arbeiterbewegung red. von D. Rjasanow, VI Jahrgang, S. 215—216.

[69] Соб. соч., XIX, с. 95.

[70] Соб. соч., XIX) с. 156.

[71] Там же.

[72] Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия, пер. Житловского, изд. «Книга». 1918. с. 149.

[73] Там же, с.с. 129—130.

[74] Соб. соч., XIX, с.с. 48—49.

[75] Бауэр Отто, цит. соч., с. 125 и сл.

[76] Соб. соч., XIX, с. 158.

[77] «Neue Zeit». 28-XI 1914. N 8.

[78] Kunow H., Parteizusammenbruch, Berlin, 1915, S. 33.

[79] «Neue Zeit», 18-II 1926) N 2.

[80] Соб. соч., XIX, с. 163.

[81] Соб. соч., XIX, с. 177.

[82] Там же, с.с. 196—197.

[83] Там же, с. 177.

[84] Сафаров Г., Национальный вопрос и пролетариат. Изд. 2-е, доп., М., 1923, с. 200.

[85] Там же. с. 200.

[86] Цитирую по книге Сафарова, цит. соч., с. 203.

[87] Соб. соч., XIX, с. 200 и 201.

[88] Соб. соч., XIX, с. 204.

[89] Там же, с. 201.

[90] Станкевич В., Судьбы народов России. Берлин, 1921; с. 15.

[91] Hindenburg, Aus meinen Leben, Lpz. 1927, S. 306.

[92] Ibid., S. 107.

[93] Martna M., Estland. Esten und die estnische Frage, Beten, 1919. S. 63,

[94] Hilbert Boehm Max, Europa irridenta, Brl. 1923, S. 212,

[95] См. Ленин, Соб. соч., XIX, с. 173.
[96] Мирные переговоры в Брест-Литовске, с. 7.
[97] Соб. соч., XIX, с. 318.
[98] Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk, herausgegeb. vom Fr. Purlitz, Dresden 1918, S. 3—4.
[99] Deutsche Tageszeitung vom 30 Nowember 1917, N 301.
[100] «Deutsche Zeitung» vom 2 December 1917, N 303.
[101] «Berliner Lokalanzeiger», 13 Januar 1918, N 11.
[102] «Wiener Tageblatt» vom 18 Januar 1918, N 16.
[103] «Leipziger Volkszeitung» vom 22 Mars 1918.
[104] «Vorwärts» vom 26 Februar 1918, N 45.
[105] Людендорф, цит. соч., с. 112.
[106] Цитирую по Grumbach, op. cit. S. 64.
[107] См. Die Freidensverhandlungen in Brest-Litowsk, S 85.
[108] Boehm, op. cit. S. 220.
[109] Людендорф, цит. соч., с. 126.
[110] Boehm, op. cit. S. 209.
[111] Сорель, цит. соч., с. 237.
[112] Boehm, op. cit. S. 221.
[113] Мирные переговоры, с. 9.
[114] Там же, с. 10.
[115] Там же.
[116] Там же.
[117] Там же, с. 29.
[118] Троцкий Л. Д., От Октябрьской революции до Брестского мира, Харьков, 1924, с. 126.
[119] Покровский М. Внешняя политика России в XX веке, с. 74.
[120] Фрелих П., Революция 1917 года и Германия, гл. IV. Брестский мир. «Историк-Марксист»; 1927, том шестой, с. 5.

[121] Этот же самый Попов произнес следующую речь при закрытии конференции перед первым перерывом, которую для сопоставления интересно привести почти целиком: «Высокоуважаемые присутствующие, ваше высочество, милостивая государыня и милостивые государи. Принятые нашей мирной конференцией основные положения создают совершенно новую эру в развитии международного права, обеспечивая политическую самостоятельность и свободу не только отдельных индивидуумов и социальных классов, но и всех государств в мире, будь они слабы или могущественны. Принципиальная недопустимость насильственных территориальных приобретений, т. е. вопреки воле населения соответствующей области, допущение международных организаций малых народностей, а также принцип разрешения всех международных спорных вопросов мирным путем, — провозглашение этих принципов в развитии международного права должно считаться величайшей из великих хартий. Человечество должно быть благодарно в первую очередь русской делегации, в лице которой здесь представлены творческий дух и правовое чувство великого русского народа и затем мирным делегациям Четверного союза». См. Мирные переговоры, с. 38—39.

[122] Гофман, цит. соч., с. 170.
[123] Гофман, цит. соч., с.с. 176—177.
[124] Мирные переговоры, с.с. 71—72.
[125] Там же, с. 74.
[126] Там же, с. 80.
[127] Троцкий, цит. соч., с 130.
[128] Мирные переговоры, с.с. 93—94.
[129] Там же, с.с. 94.—95. См. также у самого Гофмана, цит. соч., с. 180.
[130] Фрелих, цит. соч., с. 7.
[131] Мирные переговоры, с. 85.
[132] Ленин, О праве наций на самоопределение», Соб. соч., т. XIX), с. 108.
[133] Мирные переговоры, с. 61.
[134] Каменев, цит. соч., с.с, 33—34.

[135] Там же, с. 42.
[136] См. тексты соответствующих мирных договоров с Эстонией, Литвой, Латвией и пр.
[137] Литвинов М., Мирная политика советов. Гиз, 1929, с. 30.
[138] Сам Троцкий именно так и объясняет этот шаг. См. «Брестский этап», предисловие к стеногр. отчету «Мирные переговоры»... с. 111. См. также его Собр. соч., Гиз, 1926, т. XVII, с. 115 и сл.
[139] «Тезисы о мире», Соб. соч., XV, с. 63.
[140] «О революционной фразе», там же, с. 99.
[141] Ленин и Брестский мир. Статьи и речи Ленина в 1918 г. о Брестском мире. С вводн. ст. и прим. Н. Овсянникова, Гиз, 1924, с.с. 3—4.
[142] Отношение Ленина к «реальной политике» в Бресте, см. у М. Покровского, Октябрьская революция и Антанта, «Прол. Рев.», 1927, № 10, с. 24 и сл.
[143] Каменев, цит. соч., с. 49.
[144] Чернин, цит. соч., с. 250.
[145] См. напр. речь Кюльмана в рейхстаге от 19 февраля 1918 г. «Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk», S.S. 151—157.
[146] «Freie Presse» vom 7 Februar 1918, N 30. О тактике украинской делегации в Бресте см. также: Гофман, цит. соч., с.с. 181—182 и сл., «Мирные переговоры», с.с. 151—152 и сл.; Покровский, Внешняя политика России в XX в., с.с. 66—77 и сл.
[147] Каменев, цит. соч., с. 45.
[148] Третий Всеросс. Съезд Советов Раб. Солд. и Кр. депутатов. Отчет. П., 1918, с. 93.
[149] Мирные переговоры..., с. 56.
[150] Там же, с. 47.
[151] Чернин, цит. соч., с. 252: см. также Гофман, цит. соч., с. 179.
[152] Каменев, цит. соч., с.с. 31—32.
[153] Иоффе, примечания и приложения к стеногр. отчету Брестских переговоров, см. «Мирные переговоры»..., с. 246.
[154] См. Виноградов Б., Мировой пролетариат и СССР. Изд. Ком. ак. М., 1928, с.с. 16—20.
[155] См. напр. Гофман, цит. соч., с. 199.
[156] Hindenburg, op. cit. S. 306.
[157] Сокольников Г., Брестский мир, Гиз, 1920, с. 13.
[158] Мирные переговоры...», с. 231.
[159] Покровский М., Октябрьская революция и Антанта..., с. 22.
[160] Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk, S. 167.

ОГЛАВЛЕНИЕ



ОДИН РУБЛЬ



СКЛАД ИЗДАНИЯ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО РАНИОН
МОСКВА, 19, ВОЛХОНКА, 18